

В

СЕРГЕЙ ГЛЕБОВ

ЕВРАЗИЙСТВО

МЕЖДУ

ИМПЕРИЕЙ

И МОДЕРНОМ

Сергей Глебов

Евразийство между империей и модерном

<http://litres.ru/>

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3118055

Евразийство между империей и модерном: История в документах:

Новое издательство; Москва; 2010

ISBN 978-5-98379-135-0

Аннотация

Книга Сергея Глебова «Евразийство между империей и модерном» представляет научную публикацию переписки лидеров евразийского движения – писем Николая Трубецкого и Петра Арапова Петру Сувчинскому и писем Петра Савицкого Трубецкому. Переписка проливает свет на возникновение и развитие евразийского движения, его внутренние дебаты, отношение к различным интеллектуальным течениям первой трети XX века, связи с эмигрантскими организациями и Советским Союзом, проникновение секретных служб СССР в эмигрантскую среду и другие сюжеты политической жизни русской эмиграции 1920-х годов. Публикация писем снабжена подробными комментариями и пространном введением – очерком фактической и интеллектуальной истории

евразийского движения, рассматривающим его в политическом, идеологическом и научном контексте межвоенной эпохи.

Содержание

Предисловие	5
I	12
1	12
2	23
Николай Сергеевич Трубецкой	28
Петр Петрович Сувчинский	39
Петр Николаевич Савицкий	50
Петр Семенович Арапов	57
3	63
4	87
Конец ознакомительного фрагмента.	105

Сергей Глебов

Евразийство между империей и модерном: История в документах

Предисловие

В настоящий том вошли письма Н.С. Трубецкого и П.С. Арапова П.П. Сувчинскому за 1921–1928 годы, сохранившиеся в архиве Сувчинского в Национальной библиотеке Франции в Париже. Кроме того, в сборник включены письма Н.С. Трубецкого П.Н. Савицкому за 1923 год, которые хранятся в той же архивной коллекции и служат важным дополнением к корпусу писем Трубецкого Сувчинскому¹.

Возможно, многие историки поставят под сомнение правомерность публикации под одной обложкой документов, вышедших из-под пера столь разных людей: с одной стороны, всемирно известный ученый, один из основоположников структурализма, с другой – довольно «темная» личность,

¹ Вопрос о том, каким образом письма Н.С. Трубецкого к П.Н. Савицкому оказались в архиве П.П. Сувчинского, остается открытым. Вполне вероятно, что они попали к последнему от самого П.Н. Савицкого – еще до начала периода напряженных отношений между двумя лидерами евразийства.

никому не известный офицер-эмигрант, ставший агентом ОГПУ и исчезнувший в советских лагерях. Тем не менее любая граница, прочерченная в истории евразийского движения между «классическим» евразийством (его научной составляющей) и подпольной политикой, искусственна. Историю евразийства можно рассказать, только если рассматривать политику, искусство и науку как составляющие единой идеологии. В этом смысле тексты Арапова, ключевой фигуры в контактах евразийцев с «Трестом» (фиктивной монархической организацией, созданной ОГПУ для «инфильтрации» в эмигрантскую среду), ничем не хуже и не лучше текстов Трубецкого и являются не менее важными документами для истории евразийского движения. Более того, поскольку Трубецкой переписывался и встречался не только с интеллектуалами, но и с людьми уровня Арапова, публикация писем последнего в одном томе с бумагами Трубецкого не должна выглядеть слишком экстравагантной.

Стили этих двух авторов, качество текстов, их интеллектуальные горизонты, безусловно, были очень различны. Их объединяло одно: оба они, как представляется, были достаточно близки с П.П. Сувчинским, чтобы позволить себе значительную долю откровенности. Для Трубецкого Сувчинский оставался одним из самых близких людей на протяжении практически всех 1920-х годов; Арапов, в свою очередь, являлся верным последователем идей Сувчинского, его духовным учеником. В силу этого публикуемые документы об-

ладают уникальным свойством: они проливают свет на весьма сложные взаимоотношения внутри евразийского движения, демонстрируют, какие проблемы были особенно важны для его участников. Учитывая, что официальные евразийские публикации подвергались весьма серьезной редакции и внутреннему цензурированию, роль этих документов неопределима в деле реконструкции, описания и критики феномена евразийства.

Стоит отдельно остановиться на происхождении публикуемых документов. Все они хранятся в огромной архивной коллекции П.П. Сувчинского в Департаменте музыки Национальной библиотеки Франции в Париже. Напомним, что в конце 1924 года Сувчинский переселился в Париж, где и жил до самой смерти в 1985 году. В 1960-х годах Сувчинский, уже пожилой человек, пытался продать свой архив и вел переговоры на эту тему с Гарвардским университетом (посредником в этих переговорах выступал Роман Якобсон, а оценивать коллекцию приезжал известный историк Ричард Пайпс²), но сделка не состоялась, поскольку Сувчинский не был удовлетворен предложенной ему суммой (10 000 долларов, тогда как он оценивал архив в 30 000). После смерти Сувчинского в 1985 году его вдова, Марианна Львовна Сувчинская, передала значительную часть архива известному поэту Вадиму Козовому, а другую – в Департа-

² См. переписку Р.О. Якобсона и П.П. Сувчинского за 1951 год: Bibliotheque National de France. Departement de Musique [далее – BNF. DdM.]. 0092 (21).

мент музыки Национальной библиотеки Франции. Предполагалось, что Козовой осуществит публикацию материалов архива Сувчинского, но до своей смерти в 1999 году он сумел напечатать лишь малую часть архивной коллекции – переписку Сувчинского и Пастернака. Несмотря на то что в литературе часто встречаются ссылки на копии отдельных писем из архива (в частности, письма Трубецкого к Сувчинскому скопировал с хранившихся у Козового бумаг Владимир Аллой), эти документы так и не были введены в научный оборот. После смерти Козового его вдова передала оставшуюся у нее часть архива Сувчинского в Национальную библиотеку, где он и хранится сейчас.

Эпистолярная часть архива Сувчинского в Национальной библиотеке Франции впечатляет даже не столько количеством единиц хранения, сколько разнообразием корреспондентов. В архиве находится его переписка с И.Ф. Стравинским и С.С. Прокофьевым, Д.П. Святополк-Мирским, Л.П. Карсавиным и Н.С. Трубецким, Б.Л. Пастернаком, Мариной Цветаевой, М.В. Юдиной, Максимом Горьким, советскими музыковедами и итальянскими футуристами, философами Ж. Деррида и Ю. Кристевой, звездой мюзиклов В. Дукельским (Vernon Duke) и художником П. Челищевым. Для истории собственно евразийства коллекция Сувчинского является уникальным источником, поскольку дает представление о развитии этого движения не только с точки зрения ортодоксальных евразийцев, но и с точки зрения его участников

с крайне левыми взглядами. Кроме того, сохранившиеся у Сувчинского документы проливают свет на финансирование движения и его контакты с советскими спецслужбами.

При работе над настоящей книгой использовались архивные коллекции Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), Центрального исторического архива города Москвы (ЦИАМ), Бахметьевского архива Колумбийского университета (Нью-Йорк, США), Отдела редких книг и рукописей библиотеки Файерстоун Принстонского университета (Принстон, США). В публикуемых письмах орфография и пунктуация были приведены к современным стандартам; при этом публикатор стремился к сохранению некоторых индивидуальных особенностей пунктуации.

Публикация настоящих документов является частью многолетнего проекта по изучению истории евразийского движения. Во время работы над этим проектом многие люди оказывали мне самое разнообразное содействие. В течение пяти лет работы над диссертацией по истории евразийского движения в Университете Ратгерс (Нью-Джерси, США) профессор Сеймур Беккер был для меня примером интеллектуальной честности – и остается таковым и сейчас. Я хотел бы поблагодарить коллег, с которыми мне довелось обсуждать историю евразийства – как лично, так и на различных конференциях: Давида Схиммельпеннинка ван дер Ойе, Марка Бэссина, Илью Виньковецкого, Марлен Ларюэль, Ольгу Майорову, Штефана Видеркейра, Мартина Байссвенгера,

Веру Тольц, Чарльза Хальперина, Харшу Рэма и многих других. Моя особая благодарность – Патрику Серио и ныне покойному Марку Раеву, беседы с которыми были для меня чрезвычайно полезны. Таня Чеботарева из Бахметьевского архива при Колумбийском университете и Габриэль Суперфин из Института Восточной Европы при Университете Бремена оказали мне неоценимую помощь в навигации по архивам «зарубежной России». В Париже г-жа Мари Аврил и г-жа Элизабет Виллатт содействовали мне в работе над архивными коллекциями Национальной библиотеки. Мой самый большой долг – перед моими коллегами по журналу *Ab Imperio*: Ильей Герасимовым, Мариной Могильнер, Александром Семеновым и Александром Каплуновским, с которыми меня объединяют не только взгляды на историю Российской империи, но и дружба длиной в десятилетие. Мое понимание истории евразийства сформировалось под влиянием их идей и работ и наших дискуссий о новой имперской истории России и Евразии. Без участия Ильи Герасимова эта публикация не увидела бы свет, и я глубоко благодарен ему не только за организацию работы и редактуру, которые он вынес на своих плечах, но и за интеллектуальную щедрость, постоянную готовность поделиться своей интерпретацией материала и обсудить мою. Разумеется, все ошибки и недочеты этого издания относятся на мой счет.

Корректурное примечание. Когда работа над настоящим

изданием была окончена, нам стало известно о выходе в свет книги: *Трубецкой Н.С. Письма к П.П. Сувчинскому, 1921–1928.* М.: Русский путь, 2009, подготовленной К.Б. Ермишиной на основе копий В.Е. Аллоя.

I

Евразийство между империей и модерном

1

Начало

Осенью 1920 года многие подданные бывшей Российской империи, рассеянные по различным странам Европы, с тревогой вчитывались в военные сводки из Крыма, публиковавшиеся парижскими «Последними известиями» – самой популярной газетой эмиграции. Положение врангелевских войск становилось все более шатким. Гражданская война в Европейской России подходила к концу. 18 августа того же года в одном номере со знаменитой статьей Б.Э. Нольде о «зарубежной России»¹, среди военных сводок, в кратком и неприметном сообщении «Последних известий» из Болгарии упоминалось, что князь Николай Сергеевич Трубецкой получил место доцента – преподавателя языкознания – в Софийском университете.

По воле судьбы в это время в болгарской столице оказалось несколько недавно эмигрировавших из России моло-

дых людей, которые обнаружили между собой много общего. Кроме Трубецкого, в эту группу входили князь Андрей Александрович Ливен, Петр Петрович Сувчинский и Георгий Васильевич Флоровский. Сувчинский совместно с Н.С. Жекулиным и Р.Г. Молловым основал в Софии Русско-Болгарское книгоиздательство. Одной из первых его публикаций стала книга Н.С. Трубецкого «Европа и человечество» – манифест антиевропеизма, обвинявший европейскую цивилизацию в колониальной агрессии против всего человечества.

Андрея Ливена связывали дружеские контакты с еще одним молодым ученым – учеником П.Б. Струве по петроградскому Политехническому институту Петром Николаевичем Савицким. В начале осени 1920 года Савицкий находился в Крыму, где работал в Департаменте внешних сношений правительства генерала Врангеля, а в ноябре эвакуировался в Константинополь. Именно там он получил письмо от Ливена, который сообщал ему о «евразийской» группе в Софии и планах по изданию «евразийской» литературы. Как писал Ливен, «Трубецкому поручено составление евразийского сборника». Очевидно, Ливен и Савицкий обсуждали идеи книги об особом российском мире «Евразии» задолго до описываемых событий.

В Константинополе Савицкий прочитал книгу Трубецкого «Европа и человечество» и откликнулся на нее большой рецензией в «Русской мысли», издание которой незадолго до

этого решил восстановить в Софии П.Б. Струве. Постоянно находясь в разъездах, Струве поручил Савицкому представлять его в Софии, а право издания «Русской мысли» было передано Русско-Болгарскому книгоиздательству. В начале 1921 года Савицкий переехал в болгарскую столицу, и в течение года там сложилось ядро той группы людей, которая в разном составе на протяжении всех 1920-х годов будет пропагандировать новое течение российской мысли – евразийство. Летом 1921 года эта группа заявила о себе первым публичным выступлением и в августе выпустила первый сборник статей – «Исход к Востоку»...²

История евразийства как движения ограничивается 1920-1930-ми годами. Однако евразийская идеология, которая, казалось, навсегда исчезла с политической и интеллектуальной сцены в середине XX века, сегодня вновь возвращается на страницы книг, газет и журналов. В течение второй половины XX века евразийство жило полуподпольной жизнью, выходя на свет только в работах последователя Савицкого – Льва Николаевича Гумилева и в некоторых книгах историка-эмигранта Георгия Владимировича Вернадского. С крахом советского режима и исчезновением советского метаязыка возрождение евразийства, очевидно, стало попыткой занять на постсоветском пространстве освободившуюся идеологическую нишу, причем попыткой не всегда безуспешной. Фашиствующее движение Александра Дугина, евразийские рассуждения лидеров коммунистов, на-

конец, евразийская лексика казахстанского президента, открывшего в Астане Евразийский университет имени Льва Гумилева, – все говорит о том, что евразийство, в отличие от других идеологий межвоенной эмиграции, сделало небезуспешную попытку возвращения или, точнее, проникновения на территорию Евразии. Сегодняшнее евразийство роднит с евразийством историческим неприятие современной культуры, враждебность к либерализму и попытка найти «третий путь» между капитализмом и государственным вмешательством в жизнь общества и экономическую деятельность, то есть те черты, которые сближали евразийство 1920-х годов с фашизмом межвоенной Европы. В постсоветской, травмированной России, которую социологи называли даже Веймарской Россией, у такого движения, безусловно, есть потенциал³. Немаловажен и тот факт, что сегодня, как и девять десятилетий назад, российская публика живет под впечатлением от распада многонационального имперского государства, от утраты этим государством статуса мировой державы. Казалось бы, евразийство, настаивающее на равенстве народов Евразии, провозглашающее участие неславянских народов в общей государственной и политической жизни Евразии, может повернуть Россию на путь чуть ли не современного западного мультикультурализма и сделать возможным сохранение единого постсоветского пространства. Однако «синкретизм» евразийства никогда не приводил к замещению русского национализма некоей менее исключи-

тельной национальной идентичностью (как можно было бы предположить на основании отдельных положений евразийского учения). Исторически в евразийстве всегда перевешивала та составляющая, которая связана с фашизмом, а переоценка национальной идентичности, даже если в ней и был изначально заложен потенциал преодоления этнической исключительности, является скорее оправданием целостности имперского пространства и апологией территориальной экспансии.

Впрочем, исследование, содержание которого зависит лишь от идеологических забот сегодняшнего дня, – плохое исследование. Существует достаточно аргументов, объясняющих, почему прошлое евразийского движения, каким бы оно ни было, важно для понимания истории России в XX веке. Евразийство возникло в условиях политической эмиграции 1920-х годов, существовало среди эмигрантов и разделяло эмигрантские предрассудки и стиль мышления. Учитывая традиционное внимание, которое политические эмигранты уделяют происходящему на своей родине, их взгляды зачастую необычны, поскольку, как отмечал Георг Зиммель, странник живет как бы в двух измерениях – в реальном мире изгнания и воображаемом мире своего отечества. Унаследованные из прошлого традиции преломляются в ситуации «перемещения» (*displacement*) и конструируют образы будущего. Время, которое с неумолимостью сокращает культурный рынок эмигрантского общества, способствует его все

большей ассимиляции в принимающие общества, создавая ощущение распада и надвигающейся катастрофы. Как писал один из эмигрантов 1920-х годов, эмиграция представляет собой «этнографическую пыль». Самоидентификация эмигранта связана с определением места в принимающем обществе и выстраиванием границ «своего» в реальном мире, но это выстраивание зависит от того, как определяется воображаемое отечество. Для эмигрантов 1920-х годов контекстом, в котором воображалось это отечество, была история России имперского периода и факт ее распада, с одной стороны, и глубокий кризис европейской модерности – с другой.

На протяжении всего советского периода история эмиграции не привлекала практически никакого внимания: в СССР этому не способствовали идеологические условия, а на Западе, за исключением единичных работ историков, советская концепция «краха антисоветской белоэмиграции» транслировалась в общее ощущение, что эмигранты из бывшей Российской империи – это представители безвозвратно ушедшего мира, атавизм истории, не имеющий никакой эвристической ценности⁴. Само понятие революции в рамках модернизационной парадигмы, господствовавшей во второй половине XX века, было тесно связано с современностью и неумолимым движением прогресса. Под влиянием марксовской интерпретации Гегеля революция осмыслялась как разрешение, снятие противоречий общественного устройства, как выход на новую, более прогрессивную стадию развития.

Контрреволюционные эмигранты вписывались в эту картину лишь как печальный пережиток истории, тупиковая ветвь исторического развития. Парадоксальным образом огромное количество работ было написано об отдельных эмигрантах: таких знаменитостях, как Набоков или Стравинский, но не об эмиграции. Ситуацию не изменила даже возникшая в период крушения колониальных империй мода на исследования миграций и диаспор или традиционный интерес к теме изгнания, который всегда проявляли интеллектуалы: ни в постсоветской России, ни за рубежом не появилось культурной или социальной истории эмиграции как особой области исследований⁵. С падением советского режима увидело свет необозримое количество публикаций об эмиграции в России, но, несмотря на большую работу по введению в оборот новых источников, здесь говорить о каких-то концептуальных инновациях пока рано⁶. К сожалению, если эмиграция и возвращалась, то в обличье «подлинной исторической правды», которую искажала советская идеологическая наука; она была, как любили говорить в конце 1980-х – начале 1990-х, средством для уничтожения очередного «белого пятна» на исторической карте. В тех немногих работах западных исследователей, которые посвящены российской эмиграции, речь обычно идет либо об истории культуры в традиционном понимании «высокой культуры», либо о последних годах жизни известных персонажей предреволюционной российской истории, что ограничивает исследования эмиграции

областью «классической» культурной и политической истории⁷.

В то же время история эмиграции 1920-1930-х годов представляет собой любопытную модель «альтернативной лаборатории», в которой представители образованных классов бывшей Российской империи конструировали прошлое и будущее России, причем, в отличие от интеллектуалов Советской России, они обладали возможностью напрямую транслировать опыт и ощущения европейской модерности кризисного межвоенного периода в свои тексты о российской истории и политике⁸. Именно в эмиграции сформировался русский фашизм, а культурный фермент модернизма конца XIX – начала XX века остался вне рамок Советского государства и большевистской идеологии.

Несмотря на то что провозглашенная российской революционной эмиграцией («зарубежной Россией», как ее назвал Б.Э. Нольде) задача сохранения и возвращения «национальной» традиции в освобожденную от большевиков Россию так и не была выполнена (в отличие от некоторых постсоветских государств, никакой более или менее значительной инкорпорации эмигрантского наследия в академическую науку в России, за немногими исключениями, не произошло), именно в эмиграции началось осмысление истоков революции, хода Гражданской войны, самой возможности существования многонациональной империи⁹. Более

того, многие российские интеллектуалы в изгнании особенно остро ощущали кризисный характер современности: Россия была выброшена большевистским переворотом на едва ли подходящий для нее путь построения социализма и, как считал, например, Н.С. Трубецкой, «то, что для европейских экономистов является конечным пределом эволюции, в России в данном случае является исходным пунктом интересующей нас эволюции»¹⁰. Согласно такому взгляду, необходим был поиск новых форм социального и государственного устройства, новых подходов к организации научного знания и восприятию европейского наследия.

Одним из ярких примеров такого поиска, в котором отразились самые разнообразные проблемы российской истории, и было евразийское движение, которое в своем стремлении, с одной стороны, сохранить имперскую целостность России, объявив невозможными и бессмысленными национализмы населяющих ее народов, а с другой – исключить ее из сферы европейской модерности провозгласило Россию особой, неевропейской цивилизацией. Представители евразийского движения подчеркивали свое отличие как от традиций дореволюционного периода (таких, как либерализм, народничество или консервативный монархизм), так и от современных им европейских параллелей (например, фашизма). Несмотря на то что евразийское движение развивалось именно в контексте интеграционалистских и фашистских движений в межвоенной Европе и было во многом родственно им по

своей тематике, языку и методам, проблематика евразийства выходит за пределы неоромантических идеологий и движений. В отличие от европейских параллелей в евразийстве отразилась не только критика стандартизирующей западной культуры, свойственная консервативным течениям – предтечам фашизма – в период между двумя мировыми войнами, но и антиколониальная риторика¹¹. Испытав влияние теории культурных типов, которую в России разрабатывал Н.Я. Данилевский, а также критики дарвинистской модели эволюции (предпринятой, например, в работах Льва Семеновича Берга), евразийские мыслители разрабатывали ультрасовременный структуралистский метод, оставив значительный (но до сих пор мало исследованный) след в истории эпистемологии XX века. Теория культурных типов, критика колониализма и «реакционный модернизм» были связаны в евразийском дискурсе не только с европейской этнографической традицией и российским консервативным романтизмом, но и с проблемным полем современного русского национализма, формировавшегося в пределах имперской политики¹². Нормативное знание в гуманитарных и социальных науках в течение XIX века развивалось в контексте национального государства, идеальной модели и смысловой рамки, которые формировали общественное мировоззрение. Империя, многонациональное государство, каковым являлась Россия, была своего рода черной дырой гуманитарного и социального знания: она не породила аналогов нормативному знанию

национального государства, а лишь примеряла на себя модели, развившиеся в контексте национального государства. Проблематика имперского государства, соотнесение моделей национализма и реальности Российской империи стали центральной темой евразийского дискурса, объединив эстетику и геополитику, фонологию и историю. Именно поэтому история евразийства – это симптом встречи интеллектуальной элиты многонационального, экономически и политически отсталого государства с современностью. В результате этой встречи евразийцы выработали в различных сферах своей деятельности – в науке и политике, в эстетике и религии – свой язык, ключевыми элементами которого стали концепты «современность», «синтез», «целостность», «идеократия», «третий путь», «автаркия», «колониализм» и т. д.

2

Действующие лица

Евразийство не смогло бы стать столь многообразным движением, затронувшим самые различные аспекты политики и науки, если бы в нем не принимали участия незаурядные личности, сыгравшие значительную роль в развитии таких разных областей, как история музыки, фонология или биогеография. Несмотря на различные профессиональные и общекультурные интересы, эти люди были объединены определенным поколенческим этосом и опытом последних «нормальных» лет Российской империи, Первой мировой войны, двух революций и Гражданской войны. Они разделяли общее ощущение глубокого кризиса – точнее, надвигающейся катастрофы – современной им европейской цивилизации; они верили, что путь к спасению лежит в проведении границ между различными культурами, как выразался Трубецкой, в воздвижении «перегородок, доходящих до неба». Они испытывали глубокое презрение к либеральным ценностям и процессуальной демократии и верили в неминуемое пришествие нового, еще невиданного строя. Эти люди, за немногими исключениями, принадлежали к привилегированным слоям бывшей Российской империи. Многие, особенно среди младших евразийцев, воевали в Белой армии, потерпели поражение и пережили изгнание.

Историки неодинаково оценивали участников евразийского движения, и их внимание не всегда напрямую зависело от того, какую роль сыграл тот или иной человек в общей истории движения. Безусловно, больше всего написано о Н.С. Трубецком, что объясняется его научной карьерой и многолетними усилиями Р.О. Якобсона по пропаганде его лингвистических идей¹. Однако биографии Трубецкого, даже если они выходят за рамки чисто лингвистических аспектов его деятельности, остаются односторонними, так как опираются на весьма ограниченное число источников. Отсутствие доступа к архивным материалам² стало причиной идеализации и облагораживания облика Трубецкого: большинство биографий этого выдающегося лингвиста обходят стороной такие черты Трубецкого, как ярый антисемитизм, граничивший с нацистскими убеждениями, и принадлежащее ему авторство фашистской теории государства, которую проповедовали евразийцы. О П.П. Сувчинском биографической литературы до последнего времени практически не существовало, а те фрагментарные биографические данные, которые появлялись по большей части в апологетических сборниках, несмотря на их значение для культурологии или музыковедения, не соответствуют критериям исторической науки³. Д.П. Святополк-Мирский удостоился отдельной биографии, возможно, благодаря тому, что его работы по истории русской литературы, вышедшие на английском языке, получили

широкую известность в англосаксонском мире и на них выросло не одно поколение славистов⁴. Если Г.В. Флоровскому и Г.В. Вернадскому повезло больше, чем П.П. Сувчинскому, то биографической литературы о П.Н. Савицком до недавнего времени не существовало вовсе, что кажется необъяснимым, учитывая доступность источников и огромный интерес к евразийству в современной России⁵. О Л.П. Карсавине написано несколько статей, содержащих биографические сведения, а вот евразийцы младшего поколения, такие как П.С. Арапов или П.Н. Малевский-Малевич, разделили судьбу Савицкого и не стали предметом не только монографий, но даже статей биографического характера⁶.

В евразийском предприятии принимали участие десятки, если не сотни, людей самого разного уровня. В орбиту евразийства в разное время были вовлечены такие представители российской культуры, как С.Л. Франк и И.Ф. Стравинский, М.И. Цветаева и А.М. Ремизов, А.В. Кожевников и Р.О. Якобсон. В то же время в нем фигурировали бывшие офицеры, например П.С. Арапов, будущий лидер русских нацистов за рубежом А.В. Меллер-Закомельский или резидент генерала А.П. Кутепова и «Треста» в Варшаве Ю.А. Артамонов. К движению примыкали и агенты ОГПУ, такие как А.А. Ланговой-«Денисов». Мы ограничимся здесь лишь биографическими данными Н.С. Трубецкого, П.Н. Савицкого, П.П. Сувчинского и П.С. Арапова. Первые трое являют-

ся самыми видными представителями евразийства, его духовными отцами и многолетними руководителями, тогда как последний – автор значительного числа публикуемых здесь писем – был активным организатором евразийского движения и его подпольным «антрепренером» на протяжении почти десяти лет. За рамками книги остались биографии Г.В. Флоровского, более тяготевшего к кругу религиозно-философских мыслителей и рано отошедшего от евразийства, и Л.П. Карсавина, который участвовал в движении лишь на последнем этапе его существования (к тому же Карсавин прикнул к евразийству лишь благодаря протекции Сувчинского, тогда как Трубецкой и Савицкий долго противились его привлечению). Именно эти четыре человека – Трубецкой, Савицкий, Сувчинский и Арапов – составляли «внутренний круг» евразийства, руководили движением, обсуждали между собой его стратегию, редактировали публикации и принимали ключевые решения.

В комментариях к публикуемым письмам будут отражены биографические данные «второстепенных» участников и «попутчиков» движения: Д.П. Святополк-Мирского, Г.В. Вернадского, П.Н. Малевского-Малевица, В.П. Никитина, Н.А. Клепинина, Н.Н. Алексеева, К.А. Чхеидзе и многих других. Здесь следует сказать несколько слов об отношении к евразийству Романа Осиповича Якобсона. Он, безусловно, симпатизировал основателям движения и был очень близок с Н.С. Трубецким, с которым его связывало многолет-

нее и чрезвычайно плодотворное научное сотрудничество, но особенно он был дружен с П.Н. Савицким, ставшим его крестным отцом. Под влиянием Савицкого Якобсон разрабатывал евразийскую теорию языковых союзов, обсуждал евразийские работы Трубецкого; его принадлежность общеполитической среде евразийства бесспорна. Он также привлёк к участию в своем восточнославянском отделе журнала *Slavische Rundschau* Савицкого, Трубецкого и Сувчинского. В одном из публикуемых в данном томе писем Трубецкой пишет Сувчинскому, что, по его мнению, Якобсон «совершенно наш» во всем, что касается оценки быта, современности, науки, восприятия искусства. Смущала Трубецкого лишь религиозность, точнее, отсутствие таковой у Якобсона. После Второй мировой войны именно Якобсон сыграл ключевую роль как в пропаганде работ Трубецкого, так и в трансляции некоторых евразийских идей в западный контекст. И все же Якобсон всегда находился на определенной дистанции от евразийцев: было это результатом его собственного решения или следствием сдержанности евразийцев, на которых мог оказать влияние факт службы Якобсона в советском учреждении или их личный (во всяком случае, Трубецкого) антисемитизм, остается вопросом для исследователей⁷. Также несмотря на публикации работ в евразийских сборниках сложно причислить к евразийцам А.В. Карташева, П.М. Бицилли и многих других – они лишь симпатизировали определенным идеям, но не принимали евразийское

учение в целом.

Николай Сергеевич Трубецкой

Николай Сергеевич Трубецкой, в отличие от большинства евразийцев, приобрел широкую известность в немалой степени благодаря неустанной пропаганде его научного наследия Р. Яacobсоном. Работам Трубецкого посвящены многочисленные исследования лингвистов и историков языкознания. В публикуемых письмах он предстает в несколько иной ипостаси: здесь мы видим не столько лингвиста, сколько теоретика-обществоведа, даже философа (несмотря на некоторую враждебность самого Трубецкого философии), идеолога, политика и организатора. Более того, облик Трубецкого-евразийца весьма далек от идеализированного облика ученого – основоположника структурной филологии, автора блестящих работ по лингвистике. Он не отказывается от ярлыка «демагог», наслаждается своей ролью идеолога и не испытывает дискомфорта от спекулятивных построений и иррациональных обобщений, несовместимых с *научным* подходом. Трубецкой-евразиец – это политический консерватор-модернист, сторонник фашистского типа государственного устройства и патологический антисемит. В Трубецком-евразийце эти черты спокойно уживались с искренним неприятием колониализма, верой в равенство евразийских народов и научным авангардизмом. Он, пожалуй, был

самым влиятельным евразийцем, к которому, как к третьей-скому судье, всегда обращались коллеги.

Н.С. Трубецкой родился в 1890 году в семье князя Сергея Николаевича Трубецкого, философа-неославянофила и горячего поклонника Владимира Соловьева⁸. С.Н. Трубецкой был профессором историко-филологического факультета Московского университета, а в 1905 году, во время революционных событий, стал ректором стремительно политизировавшегося после обретения автономии университета, сыграв, по словам биографа его сына, «значительную роль в либерализации русской общественной жизни»⁹. Он возглавлял депутацию либеральных деятелей (по свидетельству консервативных современников, не разделяя кадетского радикализма), принятую Николаем II. Краткосрочное ректорство Трубецкого закончилось с его ранней смертью.

Трубецкой-младший практически никогда не упоминал имя отца ни в своих работах, ни в своей частной переписке, оставив историкам гадать, до какой степени соловьевство и гегельянство Сергея Николаевича стало точкой отсчета для Николая Сергеевича. И хотя мы знаем, что юный Трубецкой после смерти отца был близок к людям, группировавшимся в 1910-х годах вокруг журнала «Путь», отец и сын Трубецкие представляют собой два периода, две страницы позднего русского неоромантизма. Если для Сергея Николаевича метафизические поиски духовной целостности вовсе не означали отказа от свободы в самом либеральном понима-

нии этого слова, Николаю Сергеевичу, с его страстью к организации и классификаторству в научной сфере, с его парадоксальным, на первый взгляд, сочетанием религиозности и романтического интуитивизма с наукообразием и поиском внутренней закономерности явлений, ощущение свободы было фундаментально чуждо. Молчание Н.С. Трубецкого о своем отце, возможно, объясняется стремлением евразийцев прочертить границу между своим поколением и поколением отцов («старых гримз», как они выражались), создать символическую стену между своим миром и миром, где романтическое философствование не означало отказа от стремления к индивидуальной свободе.

Поскольку биография Трубецкого уже достаточно исследована, мы наметим здесь лишь самую общую ее канву. Трубецкой был известен как вундеркинд, поскольку начал свою научную карьеру необыкновенно рано: к 15 годам появляются его первые публикации по мифологии финно-угорских народов, он вступает в переписку с ведущими специалистами в славянской, финно-угорской и палеоазиатской этнографии и лингвистике¹⁰. В биографической литературе часто упоминается следующий эпизод, рассказанный Тан-Богоразом: получив от Трубецкого письмо с просьбой о совете в области палеоазиатских языков, он приехал в Москву, чтобы встретиться с ученым корреспондентом, и в гневе покинул дом Трубецких, когда в ответ на просьбу провести его к князю Николаю Сергеевичу из комнат выбежал подросток в

коротких штанишках¹¹.

Сдав экстерном экзамены в 5-й московской гимназии (образование он получил домашнее), Трубецкой поступил в 1908 году на историко-филологическое отделение Московского университета, где в это время преподавал его дядя, искусствовед и философ Евгений Николаевич (еще один дядя, Григорий Николаевич, был известным кадетом, автором труда о проблемах внешней политики России и участником журнала «Путь»), Как писал в своем представлении на оставление Трубецкого при университете В.К. Поржезинский, первые два года Трубецкой провел сначала на философском, а затем на словесном отделении в группе западноевропейской литературы¹². В университете Трубецкой, изначально планировавший изучать философию и историю, быстро склоняется к лингвистике (заявив, что именно лингвистика – самая научная из всех гуманитарных наук) и этнографии и начинает изучать кавказские и финно-угорские языки и мифологию¹³. В 1910–1911 годах Трубецкой переходит на отделение сравнительного языковедения¹⁴. В то время, когда образованное общество России впервые серьезно задумывается о многонациональное™ Российской империи, когда ведет свою работу диалектологическая комиссия (она исследовала диалекты русского языка, включая считавшиеся таковыми украинский и белорусский языки) и возникает московский лингвистический кружок, а в стране про-

сыпаются национальные движения, интерес к языковой проблематике вне славистики вполне объясним. В конце XIX – начале XX века российская интеллигенция и российская наука начинают осознавать, что Россия – это не «органическое русское государство», но империя с многонациональным и многоконфессиональным населением.

В 1910–1913 годах Трубецкой слушает лекции В.К. Поржезинского, Р.Г. Виппера, М.М. Покровского и др. На протяжении 1910-х годов он участвует в работе секции этнографии Российского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. В это же время он активно сотрудничает с Всеволодом Федоровичем Миллером, известным иранистом, исследователем русского фольклора и основателем журнала «Этнографическое обозрение», где в 1906–1914 годах печатаются статьи Трубецкого. Летние месяцы Трубецкой проводит на даче Миллера недалеко от Минеральных Вод, занимаясь исследованием кавказского фольклора. Примечательно, что Миллер был директором Лазаревского института восточных языков в Москве, в котором учился Якобсон, сыгравший огромную роль как в жизни Трубецкого, так и в евразийском проекте. Миллер оказал большое научное влияние на увлекавшегося кавказскими языками и культурой Николая Сергеевича. Любопытно, что в своих ранних работах по русскому фольклору Миллер доказывал восточное происхождение русских былин.

Помимо Миллера, Трубецкой находился под влиянием

С.К. Кузнецова, выпускника Казанского университета, этнографа и путешественника, исследователя культуры марийцев и удмуртов, первого библиотекаря Томского университета. Выйдя в отставку, Кузнецов в 1903 году поселился в Москве, где участвовал в работе этнографической секции¹⁵. Еще одним этнографическим контактом Трубецкого был народник В.И. Йохельсон, исследователь народов Крайнего Севера. Впоследствии, в переписке с евразийцами, Трубецкой возьмет себе псевдоним Йохельсон, в связи с чем многие исследователи его биографии отметят преданность Трубецкого по отношению к одному из его учителей и коллег (Йохельсону Трубецкой писал еще совсем молодым человеком и просил совета о литературе, касавшейся палеоазиатских языков; Йохельсон ответил предложением составить список известных ему юкагирских слов). Однако, скорее всего, выбор Трубецкого объясняется вовсе не уважением к памяти этого ученого. Евразийцы брали «еврейские» имена для своих псевдонимов в рамках насаждавшейся Трубецким внутри движения антисемитской идеологии. Так, у Сувчинского не было наставника по фамилии Резник, а у Савицкого – по фамилии Элкинд.

Успешно сдав испытательный экзамен историко-филологической комиссии весной 1913 года, Трубецкой был оставлен готовиться к получению профессорского звания по кафедре сравнительного языковедения и санскритского языка. Представление об этом было подписано профессором В.К.

Поржезинским¹⁶. В сентябре 1913 года историко-филологический факультет рекомендовал ректору университета удовлетворить прошение Трубецкого о стажировке в Лейпциге. Осень 1913 и весну 1914 года Трубецкой провел в Германии, слушая лекции индоевропейцев. В частности, Трубецкой посещал лекции Линдера по староармянскому, Бругмана – по морфологии и синтаксису латыни, Лескина – по литовскому языку, а также Виндиша – по древнеиндийской литературе. Кроме того, Трубецкой участвовал в работе практических семинаров этих преподавателей, причем у Линдера он оказался единственным студентом¹⁷. С осени 1915 по конец марта 1916 года Трубецкой сдавал магистерский экзамен, состоявший из серии публичных лекций. Получив 30 мая 1916 года должность приват-доцента, уже осенью 1917 года Трубецкой взял отпуск по болезни. В автобиографии, написанной для Софийского университета 22 июня 1920 года, Трубецкой указывал:

...осенью 1917 г. я получил отпуск для лечения и поехал в г. Кисловодск, Терской области, но начавшаяся скоро гражданская война помешала мне вернуться в Москву. Только осенью 1918 мне удалось выбраться из Кисловодска и приехать в число приват-доцентов Донского университета. С весны 1919 я состоял штатным доцентом Донского университета, временно замещающим вакантную кафедру сравнительного языковедения. В то же время состоял преподавателем

и на Ростовских Высших женских курсах, а весенним полугодием 1919 и преподавателем Новочеркасского учительского института. 19 декабря (ст. ст.) 1919 г. при эвакуации Ростова-на-Дону я приехал в Ялту, а оттуда 27-го февраля (ст. ст.) 1920 г. выехал в Цариград, где находился до сего времени¹⁸.

Странствия в годы Гражданской не прошли даром для Трубецкого. В письме Роману Яacobсону он сообщал: «Во время моих странствий по Кавказу я как-то раз попал в Баку в марте 1918 года, как раз во время „восстания мусульман против советской власти“, точнее – в тот недолгий промежуток времени, когда армяне резали татар»¹⁹. Межэтнические войны на Кавказе, подобные столкновениям сторонников армянской партии дашнакцутюн и азербайджанской мусават весной 1918 года, которые Трубецкой наблюдал непосредственно, несомненно, повлияли на его восприятие национальных движений в бывшей Российской империи. Однако, как и многие участники и свидетели Гражданской войны на юге России, Трубецкой осознал важность и значение «окраинных» или колониальных народов, их «выхода на мировую сцену».

В Константинополе Трубецкой связался с учеными из Софии, куда он выехал на работу в 20-х числа июня 1920 года. Получив положительные рекомендации болгарских славистов Ст. Младенова и М. Арнаудова, историко-филологический факультет Софийского университета избрал Трубец-

кого доцентом сравнительного языкознания на два года, которые Трубецкой провел в Болгарии, читая лекции по языкознанию. Один из прочитанных Трубецким курсов отразился в евразийских публикациях: это был курс по истории религий Индии, материал из которого был использован Трубецким в статье «Религии Индии и христианство»; о ее замысле он сообщает Сувчинскому²⁰. В Болгарии были написаны и две работы Трубецкого, касавшиеся колониального характера России и роли европейской культуры в колониализме: это увидевшие свет в 1920 году «Европа и человечество» и предисловие к книге Герберта Уэллса «Россия во мгле». Отметим, что, по утверждению Трубецкого, идеи, высказанные им в первой работе, он обдумывал уже в 1910-х годах²¹.

Как следует из его писем Яacobсону и публикуемых здесь писем Сувчинскому, написанных в югославском городе Блде, Трубецкой покинул Болгарию летом 1922 года, ожидая грядущего увольнения в связи с общим ухудшением положения российских эмигрантов. Неприятие национализма «новых» государств, звучащее в текстах Трубецкого, было характерным для представителей «исторического» народа отношением к претензиям народов «неисторических». В то же время эксцессы нацистроительства в Восточной Европе отражались и на положении эмигрантов из России. В работах «Европа и человечество» и «О национализме истинном и ложном» Трубецкой резко отзывается о таком национализме, стремящемся во всем подражать институтам и формам

европейского национального государства. Это критическое и ироническое отношение к «малым» национализмам высветилось и в дискуссии Трубецкого и Дорошенко об украинской истории²². Неприятие Трубецким европейской модерности было и неприятием специфической политической формы этой модерности – современного национального государства, которое Трубецкой считал естественным только для «романо-германских» народов. Отсюда следовала и критика русского политического национализма, попытка разрушить конструировавшиеся при его помощи границы между народами Российской империи.

Подав заявку на кафедру университета в Брно, Трубецкой после периода неясности неожиданно для самого себя получил кафедру славянской филологии в Вене (впоследствии Трубецкой писал Якобсону, что получил он ее как князь согласно правилу тульского самовара – в Вене, полной собственных князей²³). Кафедра, которую возглавил Трубецкой, имела давние и славные традиции: в течение многих лет там работал Вратислав (Рудольф) Ягич, преемником которого и стал Трубецкой. Венский период жизни Трубецкого, самый продуктивный в его биографии, продлится до его смерти в 1938 году.

До конца 1920-х годов Трубецкой принимал самое активное участие в евразийском движении, являясь его неформальным лидером. Однако уже с середины 1920-х его начали посещать сомнения в нужности евразийства, появились

усталость, разочарование, мысли о том, что ему следовало бы посвятить себя лингвистике, не отвлекаясь на «евразийский кошмар». После раскола движения Трубецкой горько сожалел о своем участии в нем, не отказываясь, впрочем, от своих идей²⁴. В эти годы – примерно с 1926-го по 1935-й – Трубецкой занимается в основном разработкой евразийской политической теории. Любопытно, что в эти же годы он стал более критичным по отношению к СССР. С 1926 года в интеллектуальной биографии Трубецкого появилась еще одна страница: в Праге возник знаменитый лингвистический кружок, одним из ведущих участников которого стал Трубецкой. На работу кружка оказали влияние и евразийские построения, «русские образы целого».

Из всех евразийцев именно Трубецкой добился самой широкой известности своими научными работами, его труды пользуются авторитетом среди лингвистов и филологов, он считается одной из ключевых фигур в истории структурализма (при всей неоднозначности современной трактовки этой роли)²⁵. В то же время именно фигура Трубецкого стала связующим звеном между двумя источниками евразийства: с одной стороны, интересом к разнообразным народам Российской империи, который возник в конце имперского периода и выразился в этнографических и лингвистических исследованиях и в литературных веяниях; с другой стороны – традициями религиозного романтизма, отраженными в религиозной философии начала века, поиске социальной и

духовной целостности, которой угрожает модернизация, поиске морального обновления на религиозной основе. Если в связи с первым аспектом возникают имена Миллера, Кузнецова, Йохельсона, то в связи со вторым – Константина Леонтьева, Владимира Соловьева, круга журнала «Путь» и Сергея Николаевича Трубецкого. Унаследовав от первого источника интерес и уважение к культурам неевропейских народов, Трубецкой приобрел от второго апокалиптическое ощущение культурной катастрофы, усредняющего и омертвляющего влияния «бензинно-газовой и машинной» цивилизации модерна. Один из крупнейших лингвистов XX века, он остается неоднозначной фигурой, в которой примитивный антисемитизм уживался с нюансированной критикой современной ему цивилизации, стремление к культурному творчеству – с политиканством и местечковостью, а научный авангардизм и продуктивность – с довольно примитивным восприятием искусства и потрясающим отсутствием эстетического чутья (ср. его оценку Пастернака как «эпигона и звезду десятой величины», критику творчества Марины Цветаевой и плоские рассуждения о футуризме).

Петр Петрович Сувчинский

Петр Петрович Сувчинский – самая малоизвестная личность среди основателей евразийства, сыгравшая тем не менее ключевую роль как в формировании евразийской идео-

логии, так и в распаде евразийского движения. Сувчинский родился в 1892 году в Петербурге в польско-украинской семье, носившей графский титул Шулега-Сувчинских. Сведения о биографии Сувчинского до революции отрывочны. Известно, что семья Сувчинских принадлежала одновременно к чиновной и предпринимательской среде (отец Петра Петровича был чиновником и председателем правления общества «Нефть»), что состояние Сувчинских перед революцией исчислялось сотнями тысяч рублей, что Сувчинским принадлежало имение Тхоровка на Украине, сдававшееся в аренду промышленному предприятию, что Анна Ивановна, мать Петра Петровича, владела новым домом на Петроградской стороне в Петербурге²⁶.

Петр Петрович, судя по этим отрывочным сведениям, учился в Тенишевской гимназии, закончил Петербургский университет и консерваторию. В имении Тхоровка Сувчинский организовал народный хор и вообще рано увлекся музыкой. Более подробные и надежные сведения излагает он сам в ответ на просьбу советского музыковеда Шнеерсона написать свою автобиографию:

...15-ти лет я начал заниматься частным образом ф[орте] – п[иано] с Феликсом Михайловичем Blumenfeldом, как Вы знаете, это был первый русский дирижер, выступивший во время 2-го сезона Дягилева в Париже, дирижуя Бориса Годунова с Шаляпиным... Был также

близок с его племянниками К. Шимановским и Г. Нейгаузом... Ф[еликс]Михайлович]Блум.[енфельд] познакомил меня с Анд [реем] Ник [олаевичем] Римс. [ким] Корсаковым)... Имея в то время материальные возможности, издавал вместе с ним Музыкальный Современник], сборники статей и хроники... В начале мы кооперировали дружно, но два факта привели меня к решению прекратить мое участие в издании этого журнала. Первым фактом было появление очень интересных статей, подписанных именем Иг. Глебова в московском] музыкальном] журнале В. Держановск[ого] «Музыка». Оказалось, что Иг. Гл[ебов] был Борис Владимирович] Асафиев....

Сувчинский ввел Асафьева в число сотрудников «Музыкального современника» против воли Римского-Корсакова. Вторым фактом, вызвавшим расхождение с Римским-Корсаковым, стало появление С.С. Прокофьева. Сувчинский предложил посвятить ему концерты в Петрограде и Москве, на что Римский-Корсаков ответил отказом. Это и стало причиной разрыва²⁷. Характерно, что Сувчинский уже в этом инциденте выступал как «отрицатель старого» – культурная позиция, которой он придерживался всю жизнь. Безусловно, практическая работа по изданию журнала в дореволюционном Петербурге также имела значение для приобретения опыта создания интеллектуальных кружков и групп, в чем, по общему мнению, Сувчинский был непревзойденный мастер²⁸. В дореволюционные годы он был вхож и в литератур-

ные круги Петербурга. О нем с симпатией упоминает в своих дневниках Александр Блок, чья поэзия будет предметом статей Сувчинского в евразийских сборниках (в 1920 году Русско-Болгарское книгоиздательство даже выпустит поэму «Двенадцать» с предисловием Сувчинского)²⁹.

После Октябрьского переворота он пытался включиться в деятельность тех авангардных кругов, которые связывали обновление творчества с новым режимом. В архиве Сувчинского хранится удостоверение, направленное руководителям музыкального отдела ЦИК Украины, в котором Сувчинский назван «уполномоченным музотдела по установлению контактов с Центральным музотделом Республики». Удостоверение подписано Артуром Сергеевичем (Артуром Винсентом) Лурье, известным композитором, близким другом Анны Ахматовой³⁰. Сувчинский пытался организовать издание музыкального журнала «Мелос» и Театра классической оперы в Петрограде. Тот факт, что Сувчинский сотрудничал с Лурье, объясняет распространенное в среде французских интеллектуалов мнение, что Сувчинский был «комиссаром республики»³¹. В 1917–1918 годах Лурье был не только близок с Велимиром Хлебниковым (Лурье – один из «председателей земного шара» из известного хлебниковского манифеста), но и работал с Луначарским над организацией управления культурой в революционной России. В 1918 году Сувчинский был вынужден уехать на Украину. В его архиве со-

хранилось письмо Луначарского в районный совет с требованием уберечь его квартиру от уплотнения: вполне возможно, что разруха революционных лет и стала одной из причин отъезда. У нас мало известий о жизни Сувчинского в годы Гражданской войны, но мы знаем, что в 1918 году он живет в Киеве, общается с музыкальными деятелями, о чем свидетельствует его переписка с оперной певицей Софьей Коханской, женой пианиста Поля Коханского³².

В 1920 году он оказывается в Софии, где становится одним из директоров-распорядителей Русско-Болгарского книгоиздательства, в котором уже в 1921 году под редакцией Сувчинского и Н.С. Жекулина выходит план по изданию исторических документов времен революции и Гражданской войны в России (Сувчинский в 1920–1921 годах собирал воспоминания, записки, документы участников революционных событий; часть этих документов сохранилась в архиве Сувчинского и ждет своего исследователя)³³. Можно лишь предполагать, в какой степени этот проект создания документированной истории российской революции оказал влияние на формирование взглядов Сувчинского.

В Софии он знакомится с А.А. Ливеном, Н.С. Трубецким, Г.В. Флоровским и со своим будущим соперником и врагом, а в то время глубоко восхищавшимся им П.Н. Савицким. По определению Трубецкого, в 1920–1921 годах в Софии именно Сувчинский был ему ближе всех, Флоровский – дальше всех, а Савицкого Трубецкой охарактеризовал

как колеблющегося, не освободившегося до конца от своего ученичества у Струве³⁴. Уже в 1922 году Сувчинский переезжает из Софии в Берлин, где организует евразийские издания, финансирует авангардный театр и пропагандирует евразийство. В Берлине Сувчинский устанавливает контакт с бароном А.В. Меллером-Закомельским, невидимым партнером евразийцев на протяжении первой половины 1920-х, позднее – лидером русских нацистов, а также с П.С. Араповым, о котором речь пойдет ниже. Когда Арапов оказался вовлечен в проводившуюся ОГПУ операцию «Трест», Сувчинский неоднократно встречался с представителями «Треста» (в частности, с А.А. Якушевым).

К 1924 году, после стабилизации немецкой марки, положение прежде процветавших русских книгоиздательств в Германии заметно ухудшилось. Многие известные деятели эмиграции переехали в Париж. Евразийское же финансовое состояние к концу 1924 года неожиданно поправилось благодаря английскому филантропу Генри Норману Сполдингу. Благодаря этому Сувчинский переезжает в Париж (евразийская касса оплатила как переезд, так и его содержание), отчасти надеясь на продолжение контактов с профессорской средой. В 1925 году он привлекает к евразийству известного философа и медиевиста Л.П. Карсавина, несмотря на видимое сопротивление Трубецкого и Савицкого, считавших его «скомпрометированным» связями с религиозно-философским ренессансом. Дочь Карсавина Марианна

впоследствии стала женой Сувчинского (до этого женатого на Вере Александровне Гучковой, впоследствии Трайл, дочери А.И. Гучкова)³⁵.

Парижский период жизни Сувчинского ознаменовался и близкими отношениями с Д.П. Святополк-Мирским, которого он привлек в евразийство еще в 1922 году. Несмотря на то что евразийские взгляды Мирского были по меньшей мере неортодоксальны, его объединяла с Сувчинским общая страсть к литературе и искусству, и к 1926 году у них возникла мысль реализовать давний план евразийцев – создать близкий движению литературный журнал³⁶. Предприятие получило название «Версты», и в нем приняли участие многие известные литераторы. К этому времени у Сувчинского уже сложились тесные отношения с Мариной Цветаевой, приглашенной к участию в новом издании³⁷. Однако журнал не пережил своего третьего номера и был закрыт.

Сувчинский был безусловным лидером той группы, которую привлекали в евразийстве новый взгляд на современность, приятие революции, попытка найти общий язык с советским режимом. Вокруг Сувчинского сгруппировались люди, которые в меньшей степени интересовались евразийством с точки зрения истории, географии или этнографии. Для П.С. Арапова, Д.П. Святополк-Мирского и Л.П. Карсавина евразийство было важно как идеология, дававшая им возможность участвовать в политике и выражать свое отно-

шение к происходящему в СССР и в эмиграции, либо просто как средство эстетического эпатажа. В этой группе были литераторы и художники, и они всегда критически относились к «ученому» евразийству Трубецкого и особенно – Савицкого. Левая, или кламарская (по месту резиденции Сувчинского под Парижем), группа конфликтовала с Савицким, была настроена все более и более просоветски и в значительной степени подвержена влиянию советских спецслужб. Большинство представителей этой группы вернулись в Россию после выполнения заданий советских спецслужб (за исключением самого Сувчинского, Карсавина и Мирского, практически все участники этой группы прошли такой путь, став добровольными агентами ОГПУ-НКВД). Напомним, что сам Сувчинский вслед за Араповым не только встретился с представителями «Треста», но и вел переговоры с советскими дипломатическими представителями в 1927 году.

Трубецкой, еще в 1922 году подметивший в Сувчинском страсть к левизне, не ошибался. Сувчинский установил контакт с ведущим сменовеховцем Н.В. Устряловым и предполагал сотрудничество с группой его единомышленников (в этом Трубецкой тоже упрекал Сувчинского³⁸). Левизна эта была скорее эстетическим феноменом: увлеченный экспериментаторским направлением в литературе и искусстве, Сувчинский всегда был склонен видеть в СССР грандиозный эстетический эксперимент (подобно тому, как Яacobсон видел в

нем эксперимент по организации науки³⁹). Для Сувчинского СССР был воплощением современности, а современность – самым важным элементом искусства и политики. Многие отмечали в Сувчинском парадоксальное сочетание православной религиозности и футуризма, но со временем, особенно к концу 1920-х годов, «футуризм» возобладал. Сувчинский увлекся марксизмом и попытался трансформировать евразийство в квазимарксистское учение.

Вполне возможно, что эта эволюция Сувчинского произошла под влиянием Святополк-Мирского. Вместе с Мирским, проповедовавшим идею гибели русской литературы в эмиграции, Сувчинский установил контакт с Горьким, посетив его в 1927 году на острове Капри. Именно Сувчинский, несмотря на протесты (яростные – Савицкого и более сдержанные – Трубецкого), содействовал появлению газеты «Евразия», которая начала выходить в Париже в 1928 году. Газета стала откровенным рупором советской пропаганды (возможно, Сувчинский действительно хотел превратить ее в трибуну правой оппозиции, как об этом на допросах в ОГПУ-НКВД говорили Мирский и Карсавин)⁴⁰. Появление «Евразии» с ее шаблонным языком советских газет и своеобразной смесью евразийства, советского марксизма-ленинизма и идей «общего дела» Н. Федорова стало причиной разрыва отношений между Савицким и Сувчинским. Трубецкой покинул ряды евразийской организации, и евразийское движение в своем изначальном составе прекратило свое су-

ществование.

После неудачи с изданием журнала «Версты» (над ним работали в основном Мирский и Сувчинский) и раскола евразийства Сувчинский и Мирский еще раз обратились к Горькому с предложением создать эмигрантский просоветский журнал. Заинтересованный Горький сразу потребовал детальные сведения о проекте и сообщил о нем Сталину, подчеркнув, что это люди большего «калибра», чем те, кто до тех пор пытался организовать просоветскую прессу в эмиграции⁴¹. Сложно сказать, почему Сувчинский не вернулся в СССР, как планировал: в любом случае это спасло ему жизнь. Уехавшие в 1930-м Арапов и в 1934-м Святополк-Мирский погибли.

Парижская жизнь Сувчинского резко разделена на две части: до начала 1930-х годов она связана исключительно с евразийством, в расколе которого Петр Петрович сыграл главную роль, а с 1930-х годов Сувчинский занимается почти исключительно музыкой. Надо отметить, что в 1930-х годах неблагоприятные контакты евразийцев сказались на судьбе Сувчинского: счастливо избегнув участи своих друзей и коллег – Святополк-Мирского и Арапова, погибших в СССР, – Сувчинский в 1937 году был обвинен французской газетой *Le Jour* в сотрудничестве с ОГПУ и судился с ее редакцией⁴². Один из немногих российских эмигрантов, оставшихся в Париже в годы оккупации, он сохранил в своем архиве многочисленные документы и воззвания пронацистских

групп, включая письма великого князя Владимира Кирилловича Романова в поддержку «крестового похода канцлера Хитлера».

После войны Сувчинский активно участвовал в музыкальной жизни Франции, переписывался с Жаком Деррида, организовывал стипендию Юлии Кристевой, а также восстановил контакты с Борисом Пастернаком и Марией Юдиной⁴³. Многолетняя переписка и сотрудничество Сувчинского с Сергеем Прокофьевым и Игорем Стравинским, включая соавторство с последним в работе над «Музыкальной поэтикой», уже достаточно хорошо исследованы историками музыки⁴⁴. Сувчинский внимательно следил за литературой о евразийстве, в его архиве сохранились библиографические выписки и оттиски статей послевоенного периода, посвященных этой теме.

В истории евразийства Сувчинский сыграл необычную роль: он не участвовал в выработке географического, лингвистического или этнографического понятия «Евразии», на котором, казалось, и строилась евразийская доктрина. Его вклад в общее дело – несколько статей по литературе, в которых была сделана попытка совместить модернистскую эстетику формы с романтической религиозностью, и квази-философское обсуждение революции. Тем не менее именно Сувчинский – с его музыкальными контактами, увлеченностью Блоком, Пастернаком и Цветаевой, дружбой с художниками-авангардистами и Ильей Эренбургом, с его финанси-

рованием экспериментаторского театра – ключевая фигура для понимания евразийского феномена, его модернистского характера, связей с литературным, музыкальным и художественным контекстом русской культуры.

Петр Николаевич Савицкий

Петр Николаевич Савицкий родился в 1895 году на Украине, в Чернигове, в семье председателя земской управы. Будучи еще совсем молодым человеком, Савицкий активно занимался краеведением, публиковал статьи по истории украинской архитектуры и народного искусства. Среди оказавших влияние на молодого Савицкого – целая плеяда украинских историков-краеведов: Ю.С. Виноградский, А.М. Лазаревский (автор известных работ о крепостном праве на Украине), В.Л. Модзалевский (составитель генеалогического списка малороссийских родов), с которым Савицкий издал книгу о Чернигове, писатель, статистик и народник М.М. Коцюбинский⁴⁵. В годы учебы в Политехническом институте Савицкий публикуется в редактировавшейся П.Б. Струве «Русской мысли», причем его статьи содержат идеи о «диалектическом понятии „первоначии“». Украинский народ – одновременно самостоятельная нация и часть «большого национального целого»⁴⁶. Подобные схемы евразийцы будут впоследствии рисовать для Российской империи и ее народов. В 1916 году Савицкий закончил Петроградский поли-

технический институт, где он изучал политическую экономию под руководством Струве, и получил назначение коммерческим секретарем посланника в русскую миссию в норвежской Христиании. Там он работал под началом известного дипломата Константина Николаевича Гулькевича. После Октябрьского переворота Савицкий был вынужден вернуться на родину. Однако уже в 1918 году он покинул Чернигов. Вот как он описывал свои скитания во время Гражданской войны в письме К.Н. Гулькевичу:

Я видел режим центральной Рады, три месяца – силою слова и оружия, со своими друзьями офицерами, отстаивал черниговский хутор от большевистских банд, был освобожден немцами от осады, семь месяцев видел немецкий режим, сражался в рядах Русского корпуса (как нижний чин), отстаивавшего Киев от Петлюры, пережил падение Киева и вместе с отцом не то уехал, не то бежал из него, видел и касался французов в Одессе и дождался «славного» конца *occupation française*. С марта 1919 г[ода] по август был в Екатеринодаре и с августа по ноябрь барахтался в омуты российской «белой Совдепии», российского Юга, который был в то время освобожден от большевиков в эти месяцы. Несколько недель провел на фронте, жил в деревнях Полтавских и Харьковских, жил в Полтаве и Харькове, потом в Ростове...⁴⁷

Зиму и весну 1920 года Савицкий прослужил помощником представителя Всероссийского земского союза в Кон-

стантинополе, занимаясь обустройством беженцев. Затем Струве привлек его к работе возглавлявшегося им Департамента внешних сношений Крымского правительства. Савицкий готовил статистические заметки по состоянию экономики занятых врангелевскими войсками областей, участвовал в попытке Струве обеспечить международную поддержку Врангелю летом 1920 года⁴⁸. Любопытно, что уже в июле 1920 года, задолго до софийской встречи евразийцев, находясь в Париже в составе делегации представителей Врангеля, Савицкий писал своим родным:

...Несмотря на очарование климата и элегантски парижан – начинаю снова стремиться на Восток. Хочу видеть вас, мои дорогие, и чувствую также, что сердце мое знает родину только в пределах Евразии, среди лугов и полей Черниговщины, степей Кубани, под пальмами Батума и в сутолоке Константинополя!... Усердно проповедую «евразийство». Но в Париже не найдешь Ливена... И добродетельные европейцы с ужасом внимают еретическим предвещаниям...⁴⁹

Будучи предусмотрительным и информированным человеком, за три месяца до эвакуации врангелевских войск из Крыма Савицкий обеспечил для своей семьи (родителей и брата Георгия) аренду имения Нарли близ Константинополя (как любил подчеркивать Савицкий, «на Азиатском берегу Босфора»), где после эвакуации в ноябре сам Савицкий, его отец, мать и брат организовали своего рода эмигрантское

сельскохозяйственное товарищество⁵⁰. В начале 1921 года Савицкий уезжает в Софию, где становится представителем П.Б. Струве при Русско-Болгарском книгоиздательстве, которому было поручено издавать журнал «Русская мысль»⁵¹. В конце 1921 года Савицкий (так же, как и Флоровский) перебирается из Софии в Прагу, где благодаря беспрецедентной «русской акции» чехословацкого правительства занимает должность преподавателя Русского юридического факультета.

Трудно переоценить роль Савицкого в евразийском движении и в выработке его идеологических постулатов. Поклонник Д.И. Менделеева, В.И. Вернадского и почвовода В.В. Докучаева, именно Савицкий сформулировал основные географические и этнографические тезисы евразийства в своем отзыве на книгу Трубецкого «Европа и человечество»⁵². Скорее всего, именно Савицкому принадлежит первое использование терминов «Евразия» (для обозначения «российского мира») и «евразийство»: во всяком случае, в 1930 году в письме Якобсону Савицкий пишет, что придумал «Евразию» в 1918 году. Савицкому же принадлежит и теория соответствий, согласно которой мир Евразии обнаруживается в многочисленных совпадениях разнообразных характеристик: климатических, почвенных, географических, культурных. Савицкий был не только геополитиком и автором теории автаркического пространства – он участвовал в

работе Пражского лингвистического кружка и был создателем структурной географии, оказавшей, по мнению Якобсона, значительное воздействие на образ мысли «пражан»⁵³.

Пожалуй, не менее важной для евразийства была организаторская работа Савицкого. Аскет в личной жизни, человек невероятной работоспособности, Савицкий на протяжении почти 15 лет жил исключительно евразийством, публикуя статьи и книги, организуя сборники, пропагандируя свою доктрину и вербуя сторонников. Человек трудного характера, Савицкий был тем не менее очень цельной натурой, полностью интериоризировавшей собственный текст и не подвергавшей сомнению его внутреннюю логику. Сконструированный евразийцами образ Евразии оказался для Савицкого реальностью. Он оставался верен ему всю жизнь, несмотря на заключение и ссылки, которым подвергла его «идеократическая Евразия».

Не вызывает сомнений, что Савицкий, как и остальные основатели евразийства, был вовлечен в политику. Он несколько раз тайно бывал в СССР, чтобы встретиться с представителями созданной ОГПУ евразийской организации. В программе евразийства 1927 года отмечено, что она написана в Москве. Савицкий оставил в своем архиве запись, подтверждающую, что он подготовил эту программу во время своего путешествия в СССР. С.Л. Войцеховский вспоминал, что видел Савицкого в Варшаве, у Ю.А. Артамонова, за несколько часов до отъезда на советскую границу⁵⁴. После распа-

да евразийского движения Савицкий практически стал его единоличным главой. Ему удалось вновь получить небольшое пожертвование от Генри Сполдинга, и он продолжал евразийские публикации, в которых время от времени даже принимал участие Трубецкой.

В годы войны Савицкий, преподававший в немецком университете в Праге, был вынужден оставить службу, несмотря на все попытки предотвратить это увольнение через контакты с нацистами⁵⁵. Некоторое время он работал директором русской пражской гимназии, затем скрывался в Археологическом институте Кондакова, о чем пишет в своих воспоминаниях Н.Е. Андреев. Вместе с Андреевым Савицкий был арестован Смершем: Андрееву удалось чудом выбраться из Праги, тогда как Савицкий был осужден и провел десять лет в мордовских лагерях. Впоследствии Н.Е. Андреев вспоминал, что майор Смерша, допрашивавший Савицкого, не поверил в то, что изъятые у него патриотические стихи принадлежат его перу, посчитав это «маскировкой классового врага». Для проверки майор велел Савицкому сразу же написать стихотворение в честь Кубанской конной дивизии. Савицкий немедленно написал требуемое, а первая строка в стихотворении звучала так: «Нет имени почетнее, чем конник, ведь конник создал Русь и защитил ее...»⁵⁶ Несмотря на столь успешную демонстрацию патриотизма, советские спецслужбы арестовали Савицкого и вывезли в СССР.

Савицкий провел в заключении полных десять лет. Здесь

от ленинградских знакомых (в частности, ленинградский историк Мартынов упоминается в письмах Савицкого 1950-х годов) он узнал о работе Л.Н. Гумилева, с которым вступил в переписку (вдохновив его на теорию пассионарности) и которого всячески рекомендовал Г.В. Вернадскому⁵⁷. Когда Савицкий был освобожден из заключения, Андреев писал Вернадскому: «...Забыл написать, что Петр Николаевич Савицкий вернулся в Прагу и, кажется (Ек. Дм. Кусковой), „восторженно оценивает современную Евразию“. Бедный Петр Николаевич...»⁵⁸ Сам Савицкий в своих письмах друзьям и знакомым не уставал подчеркивать, что его убеждения не только не изменились, но и окрепли.

Вернувшись в Прагу (на что ему было дано разрешение), Савицкий вскоре был снова арестован – уже чехословацкими властями. Поводом к аресту, вероятно, послужили его публикации в западных издательствах. Вмешательство ученых с мировыми именами, организованное Н.Е. Андреевым (по иронии судьбы, крупнейший либеральный философ XX века сэр Исайя Берлин принимал участие в освобождении Савицкого от режима, который основатель евразийства интеллектуально поддерживал!), совпало с очередной чисткой в чешском правительстве, и Савицкого выпустили. В обращениях к чешским властям об освобождении Савицкого приняли участие Н.Е. Андреев, И. Берлин, Д. Тредголд, Б. Рассел и Л. Шапиро. Зарабатывавший на жизнь переводами и случайными публикациями, Савицкий уже не вернулся к ак-

тивной научной деятельности. Его письма конца 1950-х – начала 1960-х годов свидетельствуют о том, что его здоровье и психика были глубоко подорваны годами заключения. В 1968 году Савицкий умер в Праге.

Петр Семенович Арапов

Отъезд основателей евразийства из Софии привел и к пополнению рядов движения: в начале 1922 года к евразийцам присоединяется группа молодых офицеров-монархистов. Малообразованные и энергичные, они стали человеческим материалом не одного правого движения в Европе; эти «новые евразийцы» принесли с собой жажду практической деятельности, связи с правыми кругами эмиграции и готовность вовлечь политизированное евразийство в контакты с «подпольем» в Советской России. Значительный блок публикуемых в этом томе писем принадлежит перу одного из таких «новобранцев» Петра Семеновича Арапова, занявшего видное положение в евразийском движении⁵⁹.

Арапов родился в селе Воскресенская Лашма Наровчатовского уезда Пензенской губернии в 1897 году. Его семья была в родственных отношениях с Врангелями, генералу П.Н. Врангелю Арапов приходился двоюродным племянником. В отличие от основателей евразийства, так или иначе проявивших себя до революции, Арапов оставался совершенно неизвестен до момента своего знакомства с П.П. Сув-

чинским и Н.С. Трубецким. П.Н. Савицкий вспоминал, что Арапов учился в Пажеском корпусе, тогда как Л.В. Никулин в своем тенденциозном романе «Мертвая зыбь», основанном на документах ОГПУ-НКВД-КГБ, писал, что Арапов, как и Ю.А. Артамонов, – выпускник Александровского лицея⁶⁰. Известно о его службе в полку конногвардейцев до революции (вероятно, очень краткосрочном) и участии в Белом движении после нее. По свидетельству того же Савицкого, во время Гражданской войны Арапов принимал участие в массовых расстрелах, что отразилось на его психике⁶¹. Мы знаем из его переписки с Сувчинским, что в 1922 году он посещал университет в Кенигсберге, где познакомился с преподававшим там Н.С. Арсеньевым. Возможно, через Арсеньева он вошел в круг интеллектуалов, в котором о евразийстве было более или менее известно.

П.С. Арапов принадлежал к иному типу людей, чем основатели евразийского движения. Он был не очень хорошо образован (хотя Савицкий, испытывавший определенный пиетет по отношению к аристократам, и вспоминал о нем как о «тончайшем снобе», знатоке нескольких языков), в евразийских сборниках нет ни одной его публикации. Скромные попытки Арапова и Малевского-Малевича комментировать статьи интеллектуалов (например, Карсавина) были встречены резким неприятием среди старших евразийцев. Стиль и качество письма Арапова, как демонстрируют публикуемые документы, резко отличаются от стиля и качества пись-

ма основателей евразийства. Следует все же отметить, что, несмотря на отсутствие у Арапова каких-либо серьезных публикаций, в архивах сохранились его довольно любопытные заметки (точнее, наброски). Эти бумаги позволяют понять, почему такие люди, как Трубецкой или Сувчинский, считали для себя возможным сотрудничать с Араповым. В частности, он оставил любопытную заметку о взаимоотношениях национализма и имперского государства в России, о которой речь пойдет ниже⁶².

Арапов был классическим представителем молодого поколения межвоенной Европы, сформированного фронтовым и революционным опытом. Именно Арапов привлек в евразийство целую группу белогвардейских офицеров, таких как П.Н. Малевский-Малевич и А.А. Зайцов. Именно он свел евразийцев с представителями «Треста» и, по некоторым сведениям, начал вербовать участников парижской группы для работы на ОГПУ.

Родственные связи Арапова обеспечивали ему прием в окружении П.Н. Врангеля в Брюсселе, а также в лондонском доме князей Голицыных, где проживала его мать, Д.П. Арапова. Именно благодаря Голицыным Арапов познакомился с Малевским-Малевичем и Генри Норманом Сполдингом, который финансировал евразийство на протяжении нескольких лет. По воспоминаниям Савицкого, Арапов обладал «исключительной внешностью», благодаря чему пользовался огромным успехом у женщин. Савицкий также утверждал,

что, будучи глубоко циничным человеком, Арапов использовал этот успех для добывания денег на евразийство⁶³.

Несмотря на отсутствие каких-либо талантов ученого или литератора, Арапов быстро занял положение ведущего члена евразийской организации (впрочем, превращение евразийства в организацию и произошло под его влиянием: в одном из публикуемых в этом томе писем Арапов сообщает Сувчинскому о своей работе над программой, считая, что наличие таковой облегчит переговоры с «Трестом»)⁶⁴. Арапов занимался почти исключительно организационными и политическими делами евразийского движения, координируя работу его представителей, добывая средства на издательство и поездки, встречаясь с «друзьями» – очередными участниками «советского подполья». Несмотря на это, Арапов вряд ли был очень организованным человеком. (Характерна история со статьей П.П. Сувчинского, которую Арапов взялся переводить на французский язык. Не закончив работу, он вернул все материалы автору, прося освободить его от «евразийского слова».) Арапов тем не менее очень близко сошелся с Сувчинским, которому импонировало то, что тот считал себя его учеником.

Остается неясным, до какой степени Арапов был сознательным орудием в руках контрразведывательного органа ОГПУ (по меньшей мере до 1929 года). Сергей Эфрон на допросах в НКВД утверждал, что Арапов выполнял поручение ОГПУ. Однако Сергей Войцеховский, участник «Тре-

ста», считал его искренним евразийцем, ставшим жертвой мистификации «Треста»: во всяком случае, по словам Войцеховского, нет никаких свидетельств перехода Арапова на сторону большевиков⁶⁵. Однако тот факт, что Арапов не был агентом ОГПУ в 1923–1927 годах, вовсе не исключает того, что он мог стать агентом после 1928 года. Письма Святополк-Мирского Сувчинскому за 1929–1930 годы (в особенности обсуждение раскола в движении и планов по перенесению деятельности левой евразийской группы в СССР) свидетельствуют, что Арапов к этому времени получал деньги из Советского Союза⁶⁶. Известно, что в 1922 году он сопровождал агента ОГПУ Якушева в Берлин. Учитывая, что операция «Трест» была направлена против генералов П.Н. Врангеля и А.П. Кутепова и группировавшихся вокруг них офицеров, вполне возможно, что Арапов случайно попал в поле зрения советских спецслужб, а затем уже, поверив в существование антисоветского подполья («подобно княжне Таракановой», по меткому выражению П.Б. Струве⁶⁷), вывел их на евразийцев, с готовностью принявших участие в спектакле советских агентов. Как бы то ни было, именно многократно посещавший СССР Арапов служил передаточным звеном между евразийцами и «Трестом».

Сомнительна роль Арапова и в тех взаимоотношениях между ведущими евразийцами, о которых идет речь в его письмах Сувчинскому. Арапов всячески пытается сравнить

Сувчинского с Савицким, все более и более демонстрируя просоветские настроения. После раскола евразийства и прекращения финансирования газеты «Евразия» в 1930 году Арапов уезжает в СССР, после чего его след теряется. По словам Войцеховского, писатель Николай Угрюмов (псевдоним А.И. Плюшкова) упоминал, что встречал Арапова в 1930-х годах в Соловецком лагере, где тот и погиб⁶⁸.

Арапов легко находил общий язык с представителями аристократической эмиграции: даже такие интеллектуалы, как Святополк-Мирский и Трубецкой, не свободные от аристократических предрассудков, были готовы многое простить социально близкому им Арапову. В письме к Сувчинскому Мирский пронизательно писал: «Евразийство Арапова поло, как фашизм...»⁶⁹ В сохранившихся в архивах оценках, данных Савицким различным деятелям евразийства *postfactum*, Арапов описывается как человек, впервые познакомивший евразийцев с А.А. Якушевым (с ним Арапова свел Ю.А. Артамонов – еще один деятель «Треста», резидент генерала Кутепова в Варшаве). Кроме того, Савицкий пишет об Арапове как о подававшем надежды человеку, который тем не менее вел распущенный образ жизни и попал «в самые невозможные обстоятельства». По мнению Савицкого, именно этот образ жизни и стал причиной того, что Арапов попал в сети ОГПУ и в конце концов погиб в СССР.

3

Пореволюционное поколение: «обессиливающей рефлексии чужды...»

Время – это смена поколений.

П. Сувчинский

В 1930 году Роман Якобсон написал статью о смерти Маяковского и таким образом закрыл для себя возможность возвращения в СССР. В этой статье Якобсон писал о «промотавшемся поколении», впервые в своей работе обратившись к собственному историческому опыту. Социологи давно отвергли вольное использование термина «поколение» историками и литературоведами¹. В социологической литературе под поколением понимается прежде всего нисходящая структура родства, тогда как предложенное Карлом Маннгеймом понимание поколения как группы, объединенной историческим опытом или просто одинаковым периодом жизненного цикла, принято называть когортой². Тем не менее именно о поколении говорил Р.О. Якобсон, описывая людей, родившихся в 1890-х годах, причем их принадлежность к поколению для Якобсона определялась не только возрастом, но и культурным миром и исторической эпохой, их сформирова-

ровавшими (характерно, что одним из первых слушателей, «ошеломленных» статьей о «поколении, растратившем своих поэтов», был Савицкий)³.

Не вызывает сомнений, что основатели евразийского движения принадлежали к одной «когорте» с точки зрения социологической. Большинство из них родилось в начале 1890-х годов и вступило в университетскую среду в 1910-х. За рамками их исторического опыта осталось всеобщее увлечение марксизмом. Они в большинстве своем не застали голод начала 1890-х годов в России, и в критическое для освободительного движения десятилетие, предшествовавшее революции 1905 года, были в возрасте младших школьников. Большинство евразийцев – поколение 1890-х – вступило в сознательную жизнь накануне Первой мировой войны, когда Российская империя, казалось бы, вошла в свой самый «нормальный», европейский период развития. Политика, как тогда представлялось, стала уделом профессионалов, высокая культура – традиционный инструмент политической активности в России второй половины XIX века – под влиянием модернизма все больше равнялась на принцип «искусство ради искусства». Покидая университеты в 1913–1914 годах, будущие евразийцы уже не были интеллигентами – людьми, которых объединяло мировоззрение, сконцентрированное на радикальной критике существовавшего в России социального и политического порядка. Скорее они были интеллектуалами в общеевропейском смысле.

ле слова, для которых мифология радикальной интеллигенции не обладала ни привлекательностью, ни необходимостью. Мир, в который вошли евразийцы, – это мир буржуазной эдвардианской культуры, семейных традиций, гимназического и университетского образования, мир профессиональных карьер или, в крайнем случае, мир богемы. Проявившись в полной мере после войны и революции, поколенческая энергия будущих евразийцев была направлена не против существовавших в России остатков самодержавия, но против появлявшейся в ней буржуазной среды и против той культуры, которую они называли «европейской» и «романо-германской». Энергия эта была направлена не на пропаганду социализма: они вступили на путь, который в других европейских странах вел к возникновению правой критики модерного общества, к поиску новых форм органического государства и коллективных ценностей. Это поколение мало волновали вопросы, которыми задавались представители старшего поколения, например, о возможности идеализма или об отношении к государству. С началом Первой мировой войны ориентация на «нормальность» существования интеллектуальной элиты в российском обществе (вероятно, впервые со времен Великих реформ) и жизненные сценарии молодых людей, нацеленные на профессиональную самореализацию, были сломаны. Перелом в личных судьбах и распад страны были осмыслены многими из них как кризис буржуазной западной культуры, в которую они, казалось, столь

успешно интегрировались и которой они изначально пытались следовать. В несбыточности надежд юности была обвинена «порочная» культура европейской модерности, которая саморазрушительно ввергла Европу в катастрофу мировой войны. По сути, поколение будущих евразийцев отрицало те ценности, которые еще только начали распространяться в предреволюционной России и которые ожидал неминуемый крах: борьба с индивидуализмом, рационализмом, буржуазной усредненностью – предметом желаний будущих евразийцев – была перенесена ими из России кануна 1914 года в Европу 1920-х годов.

Евразийцы были выходцами из привилегированных социальных слоев: Н.С. Трубецкой и А.А. Ливен принадлежали к московской аристократии, П.П. Сувчинский происходил из семьи высокопоставленного бюрократа-промышленника и миллионера. К военной и чиновной аристократии принадлежал и Арапов. Д.П. Святополк-Мирский, которого Горький назвал в одном из писем «потомком Святополка Окаянного и специалистом по истреблению братьев», как и Трубецкой, являлся потомком титулованной аристократии, причем его отец, известный министр внутренних дел, пытавшийся найти общий язык с общественностью, подобно С.Н. Трубецкому имел репутацию либерала. Семья П.Н. Савицкого, несмотря на наличие родового имени Савищево под Черниговом и земские связи (отец Савицкого, Николай Петрович, был председателем Черниговской земской управы и

тоже считался либералом), по образу жизни и пристрастиям была скорее фермерской, нежели дворянской, причем веру в спасительный труд на земле ее члены сохранили и в эмиграции. Характерно, что Савицкий часто чувствовал себя не в своей тарелке среди гвардейцев и аристократов (об этой неуверенности Савицкого писал и Трубецкой в своих письмах Сувчинскому).

Большинство евразийцев едва успело получить образование и начать самостоятельную жизнь до Первой мировой войны. У всех евразийцев начало это было многообещающим, и все они имели основания рассчитывать на успешную карьеру в избранной сфере деятельности. Сувчинский, Трубецкой и Савицкий могли похвалиться участием в культурной, научной и политической жизни страны: Трубецкой – своим успешным вступлением в университетский мир Москвы и блестящей академической карьерой, Сувчинский – контактами в богемных кругах, статусом признанного патрона и знатока музыки, Савицкий через П.Б. Струве был частью научно-политического мира, где господствовали либералы и политэкономы. Не вызывает сомнения, что революция, Гражданская война и эмиграция разрушили все их надежды и поместили будущих евразийцев в искусственный и ограниченный мир беженства. Это обстоятельство послужило важным эмоциональным фактором, под воздействием которого основатели евразийства воспринимали элиту «канунной» России. Едва успев войти в активную жизнь предпри-

волюционной России, будущие евразийцы вынуждены были оставить привычный им мир. Все они испытали потрясения революционных лет, в той или иной мере участвуя в Гражданской войне (хотя большинство не принимало участия в военных действиях). Разумеется, их симпатии были на стороне Белого движения, с которым их связывали мириады нитей – родства, знакомства, дружбы.

В то же время евразийство с момента своего появления летом 1921 года объявило себя новой силой. В частных письмах и в опубликованных текстах евразийцев звучало неприятие практически всех политических и интеллектуальных групп эмиграции. Более того, евразийцы видели себя новым поколением, свободным от ошибок и заблуждений старших. Конструируя собственную идентичность, евразийцы, безусловно, использовали традиционный троп в истории культуры: *modernes*, отрицающие *ancienes*, фигурируют в истории идей со времен Платона и Аристотеля. Апелляция к новизне сама по себе уже является капиталом на культурном рынке; подобно тому, как дискурсивное конструирование социальной группы наделяет властью конструирующего, очерчивание временных, поколенческих границ в философской или литературной традиции наделяет их «создателя» властью над этой традицией и способностью легитимировать собственные интерпретации и делегитимировать как целые исторические периоды, так и отдельные проявления *Zeitgeist*'а. В предложенном евразийцами языке поколенче-

ские мотивы имели особое значение, подчеркивая – в традиционном модусе сражений «древних» и «новых» – модер-ность нового поколения. Они отрицали связь своего поко-ления с интеллектуалами предреволюционной России, кото-рые, по мнению евразийцев, не были представителями «на-ционального» возрождения, поскольку следовали представ-лениям европейской и буржуазной культуры. Новое же по-коление, естественно, было судьей.

Евразийцы сразу же определили свое отношение к «двум мирам» русского XIX века: к миру радикальной интелли-генции и к миру «национальному» и «религиозному»⁴. В исторической концепции евразийцев радикальная интелли-генция символизировала то, к чему приводят заимствова-ния чуждых Евразии идей и институтов Европы. Тем более парадоксально, что евразийцы не принимали и представи-телей того поколения, которое являлось идейным вдохно-вителем сборников «Проблемы идеализма» и «Вехи». Ка-залось бы, призыв к идеализму и критика утилитарности во взглядах радикальной интеллигенции, высказывавшиеся С.Н. Булгаковым, П.Б. Струве или Н.А. Бердяевым, должны были апеллировать к религиозным взглядам евразийцев. Так же, как и старшие профессора, евразийцы являлись людьми религиозными и считали православие важнейшим фактором культурной жизни России; подобно Струве, они были яры-ми националистами и сторонниками территориальной экс-пансии и государственного величия. Однако именно это по-

коление религиозных философов, прошедших трансформацию от марксизма к той или иной форме идеализма, было евразийцам особенно чуждо. Так, Трубецкой в письме Сувчинскому характеризовал Бердяева «прежде всего как человека легкомысленного». Он с осуждением вспоминал, что однажды Бердяев говорил ему о том, что христианство устарело и в нем чувствуется необходимость в женском божестве⁵. Обсуждая вопрос о возможном участии в движении Карсавина, Трубецкой (этому противившийся) напоминал Сувчинскому «о нашем старом правиле не привлекать никого из старшего поколения»⁶. Оценивая своего дядю, Григория Николаевича, Трубецкой говорил о его боязни определенности, которая «чрезвычайно типична для всего этого поколения»⁷. В свою очередь Сувчинский, сообщая Трубецкому о прибытии в Берлин высланных в 1922 году из России интеллигентов, писал:

Приезд высланных я переживаю как величайшее бедствие. Когда приехала первая группа (Франк, Бердяев, Ильин) – в этом был какой-то *индивидуальный* отбор людей. Теперь же попросту, как кусок дерна с одного кладбища на другое, как кусок мертвой кожи, пересадили окончательно отживший культурный пласт из России в Берлин для чего? – Конечно для того, чтобы возглавить эмиграцию, говорить от ее имени и тем самым не позволить народиться ничему новому, живому и следовательно *опасному* для большевиков.

Ведь если Ленин, говоря и действуя *от имени России*, по существу ничего общего с ней не имеет, то ведь и та интеллигенция, которая конечно с расчетом выслана большевиками, *никого* больше не представляет и будет только компрометировать эмигрантские новые поколения...⁸

В 1924 году евразийцы посчитали нужным объяснить, в чем же они обвиняют поколение религиозно-философско-го ренессанса. В статье «Идеи и методы», опубликованной в четвертом «Временнике», Сувчинский писал:

«Нигилистический морализм» и воинствующий материализм были осуждены, и вместо них, выражаясь формулами из «Вех», раздались призывы к «конкретному идеализму» и «религиозному гуманизму»... Однако, сколь ни радикальной казалась общая смена направлений, она на деле не смогла повлиять на широкий ход развивавшихся событий, и, несмотря на «обновленные идеалы», вторая революция прорвалась и проходит под фанатическим водительством отживших принципов воинствующего материализма... К несчастью... религиозное и идейно-общественное «возрождение» 90-х и 900-х годов не было обращено на широкую общенациональную работу, не стало заданием эпохи и оказалось значащим лишь в ограниченной среде интеллигенции, переживавшей свой внутренний кризис...⁹

Сувчинский обвинял религиозно-философский ренес-

санс в связях с «внецерковным богоискательством» и «революционной романтикой». Философский декаданс Серебряного века с его интересом к сектантству, мистическими и символическими «томлениями» и стремлением к *индивидуальному* религиозному и моральному обновлению оказался чужд проповедовавшей Сувчинским целостной системе мировоззрения, в которой догматически чистая религиозность должна была сочетаться с евразийской историософией и политикой.

Отвергая философские искания начала века как недостаточно «национальные» или «церковные», евразийцы критически относились и к С.Н. Булгакову, восстановившему в эмиграции Братство Св. Софии. Оно замышлялось как православная организация, объединяющая верующих интеллектуалов и поддерживающая церковную иерархию и интеллектуальную деятельность на пользу Церкви. К вступлению в Братство были приглашены и евразийцы. Несмотря на то что они во многом разделяли цели Братства, евразийцы усмотрели в деятельности Булгакова попытку создать протокатолический орден. Экуменические интересы и связи отца Сергия, участника интенсивных контактов протестантов и православных, были еще более неприемлемы для евразийцев, ненавидевших Европу и ассоциировавших ее с латинским христианством. Обсуждая с Булгаковым идею Братства, евразийцы в то же время подготовили к печати сборник «Россия и латинство», во введении к которому Савиц-

кий сравнил католичество с большевизмом. В этой характерной оговорке Савицкого приоткрывается связь между «католичеством», «Европой» и большевизмом, которую видели евразийцы, что проливает свет на семиотическую функцию православной религиозности евразийцев¹⁰. После публикации «России и латинства» Булгаков объяснял свое сотрудничество с евразийцами (в частности, участие в планировавшемся Флоровским журнале «Устой») публичным отказом Савицкого от своего сравнения¹¹.

Характерно, что неприятие евразийцами «стариков» не ограничивалось только лишь философами и «старыми профессорами». Для евразийцев всегда было важным подчеркнуть свое отличие не только от тех, кого правые круги Белого движения, а затем и эмиграции считали соучастниками «национальной катастрофы», – кадетов и эсеров. Объявив себя новой, третьей силой, осознавшей революцию и стремящейся к ее преодолению, евразийцы с одинаковым скепсисом относились и к монархистам, доминировавшим в эмигрантских кругах, и к военным, группировавшимся вокруг Врангеля (в своем письме Сувчинскому Трубецкой замечает, что галлипольцы, прибывшие в Софию, его «раздражают»¹²).

Любопытно и развитие конфликта между евразийцами и П.Б. Струве. Как известно, на протяжении своей интеллектуальной и политической карьеры Струве медленно, но верно двигался слева направо, пройдя всю палитру от марксист-

ста в 1880-1890-х годах до национал-либерала и монархиста – в эмиграции¹³. Автор манифеста российской социал-демократии, вдохновитель Союза освобождения и один из ведущих кадетов, Струве после революции 1905 года практически порывает с революционными и демократическим кругами. Пожалуй, самый последовательный либеральный националист в предреволюционной России, он категорически не принимал революцию и настаивал на продолжении борьбы с большевиками. В эмиграции Струве превратился в своего рода символ консервативного национализма, встав во главе монархистов и правых либералов, направивших свои усилия на объединение эмигрантского сообщества на платформе «непредрешенчества» и борьбы с большевиками. Напомним, что именно Струве был председателем созванного с этой целью в 1926 году Зарубежного съезда. Для Струве разгром Белого движения объяснялся не провалом его политики, а лишь недостатками военной организации¹⁴.

Струве был достаточно тесно связан с евразийцами. Савицкий был его учеником в Политехническом институте в Петрограде и сотрудником в Крымском правительстве. В Софии Савицкий финансово зависел от Струве, который назначил его своим представителем при Русско-Болгарском книгоиздательстве, где должны были печататься книжки журнала «Русская мысль» (чтобы сохранить место, Савицкий на протяжении 1921 года вынужден был избегать объяснения со своим учителем, недовольным евразийскими идеями). По

свидетельству Савицкого, летом 1921 года в Софии происходили жаркие дискуссии, в которых он сам и Струве спорили с Н.С. Трубецким¹⁵. Можно предположить, что в ходе этих дискуссий обсуждались неославянофильские идеи Трубецкого об истинном и ложном национализме: сам Трубецкой вспоминал в письме к Сувчинскому, что евразийство родилось из споров вокруг его «Европы и человечества». Струве изначально приветствовал националистическую позицию евразийцев, которая во многом совпадала с его собственной версией патриотизма, пропагандировавшего слияние нации и государства. Один из немногих интеллектуалов предреволюционной поры, кто прекрасно осознавал значение фактора многонациональности в российской истории, Струве предлагал свой проект имперского национализма, предполагавшего различные формы ассимиляции в русскую нацию всех народов при условии «развязывания» стихийных сил свободного общества. Более того, Струве не отрицал и большевистской энергии. В 1921 году он писал Савицкому, который старательно пытался примирить своего учителя с евразийством:

Я с большим интересом прочел Ваше письмо. Основная его мысль, которую Вы облачаете в формулу «разрыв с традиционализмом», – совершенно верная. Воскресить Россию могут только новые люди, которые будут психологически представлять некое соединение «Вех» с большевизмом¹⁶.

Однако впоследствии Струве с подозрением стал относиться к евразийскому «большевизанству», а в самом евразийстве (в особенности в неославянофильских работах Трубецкого) видел элементы народничества, которое он считал «сифилисом русской мысли»¹⁷. Струве разгромил в печати близкую евразийцам по духу статью К.И. Зайцева, опубликованную, вероятно, при участии Савицкого в первом номере «Русской мысли»¹⁸. Для автора сборника «Patriotica» российский национализм был неотделим от либерализма (пусть даже консервативной его версии), а романтический поиск народного духа и оправдание революции как освобождения этого духа, по мнению Струве, означали морально преступное оправдание самого большевизма. Иногда колкие замечания Струве о евразийстве попадали прямо в цель. Так, например, в 1925 году он сравнил евразийство с княжной Таракановой, так же верившей в существование заговора в ее пользу на территории России¹⁹. Справедливости ради отметим, что и сам Струве не избежал ловушки «Треста», отправившись в 1926 году на переговоры с представителем подпольной организации в Варшаве²⁰.

Евразийцы платили Струве той же монетой. Евразийский «тонус» не оставлял места для струвианского увлечения личной свободой, а сам Струве ассоциировался прежде всего с непониманием старой интеллигенцией нового пореволюционного мира и с ответственностью за проигранную Граждан-

скую войну. Для большинства евразийцев Струве был лишь представителем «старых гримз», не сумевшим «преодолеть своего интеллигентства» и понять необратимые изменения, происшедшие в России во время революции и Гражданской войны. Евразийцы обвиняли Струве и в том, что его идеи «Великой России», основанные на «идеалистическом гуманизме», были так же чужды народному духу православия, как и религиозно-философский ренессанс²¹. Струве настаивал на активном продолжении борьбы с большевиками, считал революцию досадной исторической несуразностью, тогда как историческая концепция евразийцев предполагала закономерность крушения старой России. Евразийцы относились с раздражением и непониманием и к идее вооруженной борьбы с большевизмом, поскольку, по их мнению, такая борьба по сути являлась борьбой с новым Российским государством, обещавшим исполнение евразийских национальных и государственных проектов. «Струве нам не нужен», – объявлял Трубецкой, добавляя: «Не знаю вообще, кому он нужен»²². Более того, между Струве и Савицким возник личный конфликт, связанный с тем, что Струве пытался блокировать получение Савицким стипендии чехословацкого правительства, на которую он прочил другого своего ученика, К.И. Зайцева. И хотя впоследствии, несмотря на неоднократные обмены резкими выпадами, доходившими до оскорблений, Савицкий все же принимал участие в подготовке юбилейного сборника для «неистового Петра», в конце 1921 го-

да он с горечью писал своим родным из Софии, накануне отъезда в Чехословакию:

Трубецкой, находясь в Праге и не зная о моем туда приглашении, возбудил в комиссии академического съезда вопрос о предоставлении мне стипендии. Ему возражали (также не зная о состоявшемся приглашении!) – кто бы вы думали... Струве! Поставив четырех кандидатов, в том числе Остроухова, Долинского и Зайцева – он заявил обо мне, что мой отец «арендует большое имение под Конст[антино] – полем и потому может содержать меня на собственный счет в Софии, где к тому же превосходные библиотеки!» Что это: непонимание, глупость или...? Что бы это ни было, – такой оборот дела, когда Учитель выступает против Ученика, – ясно показывает, что если стоит реализовать пражское приглашение – медлить нечего и нечего ждать решения медлительных болгар. Я вижу, что нужно немедленно же ехать в Прагу. А П.Б. [Струве]: ласкает покорных, топит еретиков... Воля Господня и Господь укажет, кому вознестись, а кому остаться бесплодным!..²³

Оппозиция евразийцев по отношению к Струве была симптоматичной: евразийцы не принимали все старшее поколение «профессоров». Пожалуй, один только Карташев, чья «галлиполийская мистика» – пропаганда нового национального единства, в центре которого стояли армия и фронтовое братство, сфокусированные в опыте «галлиполийско-

го сидения», – должна была импонировать евразийцам, оценивался ими неоднозначно²⁴. Одним из объяснений такого неприятия служит стремление евразийцев осудить «декадентствующих» деятелей религиозно-философского ренессанса, чей религиозно-философский поиск они связывали с вырождением русской интеллигенции, ее «греховностью», неспособностью почувствовать грядущие изменения накануне революции и оторванностью от «народной толщи». Надо отметить, что подобные ощущения были характерны не только для евразийцев. В своих воспоминаниях 1940-х годов бывший эсер Федор Степун писал:

...хорошо мы жили в старой России, но и грешно. Если правительство и разлагавшиеся вокруг него реакционные слои грешили главным образом «любоначалием», то есть похотью власти, либеральная интеллигенция – «празднословием», то описанные мною... [культурные] круги повинны, говоря словами все той же великопостной молитвы Ефрема Сирина, в двуедином грехе «праздности и уныния».

Дать людям, рожденным после 1914 года, правильное представление об этом грешном духе, об его тончайшем аромате и его растлевающем яде не легко. Дух праздности, о котором я говорю, не был, конечно, духом безделья. Наша праздность заключалась не в том, что мы бездельничали, а в том, что убежденно занимались в известном смысле все же праздным делом: насаждением хоть и очень высокой, но и очень

малосвязанной с «толщью» русской жизни культуры... «праздность» культурной элиты «канунной» России заключалась, конечно, лишь в том, что, занимаясь очень серьезным для себя и для культуры делом, она, с социологической точки зрения, занималась все же «баловством»²⁵.

Однако если евразийцы обвиняли старшее поколение в непонимании и легкомыслии, то и для старшего поколения нелегко было принять евразийские «предчувствия и утверждения». Как отмечал Н.В. Рязановский, большинство эмигрантов старшего поколения зачастую не могли понять и тем более принять экзальтированные пророчества евразийцев²⁶. Критика евразийства раздавалась как из либеральных, так и из монархических кругов. Если для либералов неприемлемой была интерпретация России как особой цивилизации и увлечение разными формами квазитоталитарного государственного устройства, то у монархистов и традиционалистов смущение вызывал «азиатизм» нового движения и его двусмысленная позиция по отношению к большевикам. Характерно в этом плане письмо Флоровскому от отца Сергея Четверикова, жившего сначала в Югославии, а затем в Братиславе и сотрудничавшего с бердяевским журналом «Путь». Четвериков был намного старше евразийцев. Не будучи известным интеллектуалом, он обладал определенной популярностью как руководитель РСХД. Вот что писал Четвериков Флоровскому о евразийстве:

...Евразийство расширяет область русской культуры и в этом может быть право. В то же время, е. [евразийство] ничего не оставляет на долю русского народа как такового, он становится «Евразией», т. е. не имеет своей физиономии... У славянофилов было как будто иначе: хотя они и не занимались изысканием всех элементов, воздействовавших на русскую культуру, но зато они точно и определенно указывали особенности русской культуры и не придумывали особого термина для ее обозначения. Не мешало б и евразийцам заняться точным установлением того, что нам дали азиаты, что нами заимствовано от Европы, и наконец того, что лежало в нашей собственной культуре... Но меня очень соблазняет готовность Ваша и Сувчинского «принять революцию». Признать ее необходимость. Я знаю, что Вы различаете «принятие революции» от ее нравственного оправдания, но все же я думаю, что вы идете по очень опасному острию. Кто принимает революцию, считает ее необходимой, тот уже неизбежно в некотором смысле ее оправдывает... Признание революции необходимой – даст основания революционерам и коммунистам считать свое выступление и свои действия необходимыми, а следовательно, и не заслуживающими осуждения. Мне кажется, этот пункт у Вас обоих, а следовательно, и в евразийстве, слаб. И не напрасно, следовательно, Вас в некоторой степени упрекают в том, что Вы оправдываете, или по крайней мере не

осуждаете, большевизма²⁷.

Подобная реакция лишь убеждала евразийцев в том, что они действительно представляют собой новое поколение, являются людьми нового типа, весьма отличного от старой интеллигенции – как революционной, так и веховской. В известном письме «младшему» евразийцу М.Н. Эндену Савицкий кратко охарактеризовал отношение участников движения к старшему поколению мыслителей религиозного ренессанса:

Они (софийцы) ощущают в нас иную, отличную от «них» волевою природу. Евразийцы по своему духовному состоянию и по своим общественным действиям по сути новые люди, по сравнению с господствующим типом предыдущих поколений; Бердяев... признавал это; «они» разъедены рефлексией; мы (хорошо это или плохо) обессиливающей рефлексии чужды. В этом смысле Г.В. Флоровский, например, принадлежит скорее к «ним», чем к нам. Я это сказал об о. Сергии (Булгакове). То же, в несколько иной форме, можно сказать о Н.А. Бердяеве. Тем не менее, в А.В. Карташеве вышеупомянутая природа уживается с чем-то еще, что делает его ближе к нам, чем к «ним»...²⁸

В этой оценке Савицкого, действительно, звучат новые мотивы. Описывая отличие евразийцев от других поколений, он использует язык многочисленных ультраправых движений меж-военной Европы. Выросшие на почве, удобрен-

ной войной, революциями и экономическими кризисами, эти движения отличались антиинтеллектуализмом, настаивали на приоритете «действия» и эстетизировали политику. Объявляя и ощущая себя новым поколением, евразийцы освобождались от идей и концепций XIX века, когда личная свобода могла уживаться с романтическим поиском народного духа. Новый романтизм евразийского поколения, отрицавший поиски индивидуального религиозно-философского обновления, готовился сочетать народный дух и религиозность с обоснованной наукой структурой, создавая сложную картину евразийской тотальности. Неудивительно на этом фоне, что евразийские профессора и эстеты нашли общий язык с бывшими офицерами, такими как Арапов, Малевский, Зайцов или Меллер-Закомельский.

Однако современники часто улавливали только эмоциональную и эстетическую компоненту евразийства, в то время как его системность и структурализм ускользали от внимания традиционных критиков (ср. кизеветтеровское «евразийство – это эмоция, вообразившая себя системой...»). Так, Бердяев в своей снисходительной (и в то же время глубокой) рецензии на евразийские выступления писал:

Евразийство есть прежде всего направление эмоциональное, а не интеллектуальное, и эмоциональность его является реакцией творческих национальных и религиозных инстинктов на

происшедшую катастрофу. Такого рода душевная формация может обернуться русским фашизмом²⁹.

Бердяев признавал, что евразийцы – это новое поколение, выросшее во время войны и революции, которое «не чувствует себя родственным нашему религиозному поколению и не хочет продолжать его заветов. Оно склонно отказаться от всего, что связано с постановкой проблемы нового религиозного сознания. Воля его направлена к упрощению, к элементаризации, к бытовым формам православия, к традиционализму, боязливому и подозрительному ко всякому религиозному творчеству». Верно оценив отношение евразийцев к своему поколению, Бердяев ошибался в одном: евразийский «синтез» предполагал размах и сложность и, отрицая религиозные искания Серебряного века, евразийцы одновременно предложили свое видение системы, в которой религия, государство, наука и эстетика соединяются в тотальную целостность, вооруженную научным аппаратом зарождающегося структурализма. Такая система отражала новый век с его всеохватывающими идеологиями и исчезновением индивидуальной свободы, от которой Бердяев отказаться не мог.

Отрицая поколение религиозно-философского ренессанса, тесным образом связанного с наследием Владимира Соловьева, и поколение «Вех», объединившее в себе элементы западнического и славянофильского дискурсов, евразийская риторика стремилась к делегитимизации двух самых серьезных своих конкурентов на политико-культурном рынке эми-

грации: влиятельного в студенческих кругах софианского движения С.Н. Булгакова, к которому в той или иной степени примыкало большинство мыслителей религиозно-философского ренессанса, и разрабатываемых П.Б. Струве проектов национализма как противовеса большевизму. Эта дискурсивная борьба вовсе не ограничивалась, однако, лишь стремлением нейтрализовать соперников. Отрицая два самых заметных феномена интеллектуальной жизни предреволюционной России как «следование за Европой», Трубецкой, Сувчинский и Савицкий создавали ощущение новизны своей идеологии и провозглашали разрыв с традицией публицистической и философской мысли России конца XIX – начала XX века. Упрекая эту традицию в декадентстве, европеизме и отрыве от народной жизни, евразийцы пытались легитимировать собственную доктрину как аутентичную и отражающую «истинную» суть российской истории, культуры, православия и т. д.

Евразийцы перенесли в Европу 1920-х годов свое разочарование прерванной «нормализацией» России в последние годы ее существования, став русским фашистским движением, которое в силу исторических обстоятельств оказалось за рубежом. Безусловно, критикуя и ненавидя Европу, они критиковали и ненавидели те черты предвоенной России, которые считали «европейскими». В процессе развития поколенческой риторики евразийцев в первой половине 1920-х годов выкристаллизовалась новая идеология, которая претен-

довала на роль новой основы мировоззрения русских националистов.

4

Евразийские вариации: в поиске целого

Евразийство представляет собой один из немногих случаев, когда классификация интеллектуального и политического движения по принципу аналогии не является методом, с помощью которого можно описать все аспекты этого движения. Евразийство может рассматриваться как консервативная идеология, направленная против либеральных ценностей западноевропейского государства; как модернистское течение, которое реанимировало романтический дискурс, адаптировав его к современным условиям; как фашистская идеология, превратившая политику из процедуры в эстетику; как движение представителей интеллектуальной элиты страны, где модернизация была поздней и неравномерной и где в связи с этим идеи часто опережали социально-экономическое развитие, создавая благоприятный климат для *ressentiment* интеллектуалов – феномен, который можно наблюдать в современных развивающихся странах; как авангардное научное течение, сформировавшееся под влиянием размышлений об истории России и принявшее участие в создании новой научной парадигмы – структурализма; наконец, как вариация на тему русского национализма или импе-

риализма. Если провести нити от каждой из этих тем, они, вероятно, пересекутся в проблеме взаимоотношений современного русского национализма – прежде всего, как конструкции интеллектуалов – и исторического факта существования империи. Евразийство с его многочисленными аспектами стало возможно в том зазоре, который возникает между национализмом – продуктом нормативного знания в социальных и политических науках, основанном на историческом опыте западного национального государства, – и империей, которая, как мираж, появляется на каждом этапе развития современного национализма в России и «путает карты», подменяя собой «нацию». Отсюда и евразийский национализм, который растворяет свой собственный субъект в некоем наднациональном конструкте, и настойчивое отрицание генетических признаков, и стремление соединить, казалось бы, несоединимое – империю и национализм, и попытка подвергнуть критике саму концепцию западного национального государства.

За век до появления евразийства победа Российской империи и ее союзников над Наполеоном и вторжение во Францию вызвали подъем национального самосознания и стали тем культурным ферментом, который вызвал к жизни философские кружки Любоумудров и привел к появлению феномена Чаадаева и славянофилов. В немалой степени в этом культурном брожении был заложен механизм конфликта: Российская империя победила носительницу идей Просвеще-

ния и свободы; в петербургских и московских салонах французская традиция свободомыслия уступила место традиции романтизма, возникшей отчасти в качестве реакции на Просвещение, принесенное в Германию французскими штыками¹. Наполеоновские войны – грандиозный источник трансформации философской мысли в Европе – вдохновили и Гегеля, увидевшего в наполеоновской империи осуществление телоса истории, пришедшей к своему концу².

Российская революция и Гражданская война были сопоставимы с теми событиями столетней давности, во всяком случае по своим последствиям для интеллектуальной жизни российской эмиграции межвоенной поры – эпохи, когда общеевропейская культура реагировала на кризис, вызванный Первой мировой войной³. Для евразийцев революция стала семантическим узлом, в котором были завязаны история страны, судьбы христианства, колониальные проблемы, религиозная и формалистская эстетика, «упадок Запада» и конец XIX века с его позитивизмом и либерализмом, новые методы научного знания и идеал нового тоталитарного государства. Революция стерла границу между этими понятиями и частными биографиями, превратив 30-летних энергичных людей в профессиональных эмигрантов. Их попытка осмыслить революцию, «прожить и преодолеть» ее породила многоуровневый язык евразийской идеологии, в котором отразились поиск тотального и целого и зарождение новых ин-

струментов романтического дискурса в XX веке.

Прежде всего, революция, по их мнению, продемонстрировала верность славянофильского тезиса о «разрывах» в российском обществе⁴. Евразийцы отказывались считать революцию исключительно социальным феноменом: для них она была революцией культурной. Восстание народных масс против образованных классов означало крах европейского проекта национального, «органического» государства, что лишало легитимности связанный с этим проектом «западнический» дискурс⁵. Являясь «культурным взрывом», революция трансформировала восприятие прошлого, и путь к катастрофе стал выглядеть единственно возможным: если в конце XIX века разрывы в «национальном теле» оставались предметом гипотетических построений, то революция, казалось, наглядно подтвердила их существование⁶. Объяснение этому культурному катаклизму было заимствовано из традиционной славянофильской схемы отчуждения народа от верхов общества. В этом евразийцы, как замечали уже их современники, не были ни новы, ни оригинальны⁷. Подобными объяснениями была полна эмигрантская печать 1920-х годов⁸. Более того, «тоталитарные» философии конца XIX – начала XX века в Европе были связаны с процессами модернизации и национализации общества: сопутствуя друг другу, они часто виделись как противоположности⁹. Модернизация экономических, политических и социальных структур

выступала как внешне очевидная угроза целостности национального организма, вызывая к жизни попытки преодолеть ее последствия в поиске метафизических истоков нации¹⁰. Подобным же образом культурное столкновение французского Просвещения с немецким миром провоцировало поиски «абсолютного духа», параллельно которому развивался и «дух народа».

Как и славянофилы, евразийцы отвергали петербургский период российской истории как порождение чуждого «романогерманского» мира, насаждение институтов которого в Московском царстве привело в конечном итоге к революции. Среди евразийцев распространялось написанное в августе 1920 года стихотворение Марины Цветаевой «Петру» (из сборника «Лебединый стан», полностью опубликованного только в 1956 году в Мюнхене) —

Савицкий старательно перепечатал его на своей машинке, а друживший с Цветаевой Сувчинский получил от нее автограф¹¹:

Вся жизнь твоя – в едином крике:

– На дедов – за сынов!

Нет, Государь Распровеликий,

Распорядитель снов,

Не на своих сынов работал, —

Бесам на торжество! —

Царь-плотник, не стирая пота

С обличья своего.

Не ты б – всё по сугробам санки
Тащил бы мужичок.
Не гнил бы там на полустанке
Последний твой внучок³.

Не ладил бы, лба не подъемля,
Ребятчих кораблёв —
Вся Русь твоя святая в землю
Не шла бы без гробов.

Ты под котел кипящий этот —
Сам подложил углей!
Родоначальник – ты – Советов,
Ревнитель Ассамблей!

Родоначальник – ты – развалин,
Тобой – скиты горят!
Твоею же рукой провален
Твой баснословный град...

Соль высолил, измылил мыльце —
Ты, Государь – кустарь!
Державного однофамильца
Кровь на тебе, бунтарь!

³ В Москве тогда думали, что царь расстрелян на каком-то уральском полустанке. – *Примеч. М. Цветаевой.*

Но нет! Конец твоим затеям!
У брата есть – сестра...
– На Интернационал – за терем!
За Софью – на Петра!

Август 1920

Образ Петра, насильственно ломающего естественный ход русской истории и таким образом подкладывающего угли под кипящий котел России, – это сжатое изложение того, что думали евразийцы о европеизации как одном из источников ее катастрофы. Это был национально-романтический дискурс, искавший утраченную целостность бытия народа и культуры, в котором переплелись идеи Гердера и Гегеля (веривших в историческое развертывание народного духа), и категорически противостоявший западническому дискурсу общности институтов и элементов российской и европейской истории (впрочем, тоже не свободного от гегелевского влияния).

Однако вряд ли можно говорить, что евразийцы лишь повторили этот романтический троп поиска духовной целостности русского народа. Новое поколение, к которому принадлежали евразийцы, выросло не в 1820-х годах, в период наивно-романтических исканий «русской правды» на французском языке, но в первые годы XX века – предпоследнее десятилетие Российской империи. Между славянофилами и евразийцами – историки Н.И. Костомаров и А.П. Щапов, пытавшиеся найти альтернативу сфокусированному на Москве

историческому нарративу, российские этнографы и лингвисты – учителя Трубецкого, рост национальных движений в Российской империи и осознание российской интеллигенцией неоднородности состава ее населения, политика русификации и очевидная несостоятельность правого русского национализма, зависимого от монархии и охранительных институтов.

Как мы уже говорили, большинство евразийцев лично наблюдало распад империи по национальным и этническим, а также по социальным линиям в годы Гражданской войны¹². Если славянофилы пытались спасти «русскую» Россию, разделенную на крестьян и дворян, от революционных потрясений стареющего Запада, то евразийцам пришлось создавать образ единого культурного пространства многонационального государства, создавать мысленный образ, в котором единое – империя – уживалось бы со множественным – с ее народами – в синтетическом и устойчивом конструкте. В этом процессе усложнения и модернизации романтического дискурса, вооруженного теперь научными схемами и профессиональным языком, утратилась и угнездившаяся в славянофильстве аристократическая свобода, воплощавшая оппозицию «бюрократическому кошмару» николаевского режима. Кроме того, за пределы националистического дискурса «выплеснулся» и дискурс интегралистский, характерный для европейских фашизмов межвоенной эпохи: в евразийстве звучит более чем современная критика колониализма,

в то время как в научную сферу – географию и лингвистику – евразийцы привнесли структуралистский метод.

С осмыслением высвеченной революцией исторической проблемы – целостности Российской империи как многонационального государства – у евразийцев было связано две основные темы. Первая, проводником которой был Трубецкой, – радикальная критика универсалистской европейской культуры и связанной с ней идеи прогресса, провозглашение возможности существования отдельных самобытных цивилизаций. Вторая тема – это объявление России одной из таких цивилизаций, особым географическим, этнографическим и культурным миром, миром Евразии, отличным от Европы и от Азии, в котором живут не русские, татары, калмыки и т. д., но евразийцы, своеобразный культурный тип, где славянские, тюркские и финские элементы смешиваются в результате исторического взаимодействия. Этот особый мир Евразии в результате войны и революции утратил свое положение великой европейской державы и пополнил ряды колониальных, неевропейских народов, которые должны заявить о себе в полный голос в новую эру, начавшуюся после Первой мировой войны. Евразия должна сыграть ведущую роль в борьбе колониальных народов против европейского господства.

Оба этих смысловых комплекса, тесно связанных с исторической проблемой многонационального государства в век государств национальных, недвусмысленно указывают

на трансформацию славянофильского (или, более широко, – романтического) дискурса XIX века. Во многом две эти темы затрагивали проблемы, которые будут активно обсуждаться в 1960-х годах в связи с процессом деколонизации и распадом европейских колониальных империй. Оба эти тематических комплекса интересны не только как узкоисторический феномен, принадлежащий истории российской эмиграции после революции, но и как способ контекстуализировать некоторые фундаментальные положения критики европейской культуры в эру деколонизации через исследование условий возникновения первых антиколониальных идеологий.

В первом смысловом комплексе евразийство провозглашало, вполне в духе Н.Я. Данилевского и О. Шпенглера, существование взаимонепроницаемых культурных блоков, одним из которых была Россия-Евразия. Унаследовав от Леонтьева страх перед исчезновением различия между культурами и социальными группами, евразийцы настаивали на невозможности и опасности как прогресса, так и общечеловеческой истории. Европа в этой конструкции выступала в качестве источника разрушающей различия, уравнивающей и обезличивающей силы современности. Именно поэтому антиевропейский комплекс приобретает такое большое значение в евразийстве. Однако антиевропейство евразийцев вовсе не ограничивалось теорией культурно-исторических типов и реакцией на возникновение новых социальных

и культурных форм. Ненавидя Европу как образ современности, евразийцы открыли одно из самых могущественных дискурсивных орудий XX века: критикуя Европу, евразийцы указывали на то, что европейское понимание прогресса и универсальной культуры стало идеологическим оружием колониализма, оправдывавшим мировое господство белой расы. Соответственно, борьба против Европы приобретала не только реакционное измерение охранительства, но и новаторский пафос освобождения. Таким образом, в евразийстве парадоксальным образом переплелись реакция и революция, стремление отгородиться от европейской современности и готовность использовать еще более радикальные социальные и политические силы в своей борьбе с ней.

Второй смысловой комплекс «имперского» евразийства – в таком конструировании Евразии, в котором снимается противоречие между национальными устремлениями народов бывшей Российской империи и единством культурного и этнографического пространства России¹³. В этом поиске целостности Российской империи евразийцы не только готовы были расстаться с европейским периодом российской истории, но и отрицали само понятие национализма, которое было столь дорого старшему поколению религиозных философов, в особенности П.Б. Струве. Характерна в этом отношении записка П.С. Арапова о национализме, которая обсуждалась участниками евразийского движения в 1925 году. Арапов писал:

Национализм, национальные движения бессмысленны в России – ибо Россия строилась не на национальном принципе, и даже более того, этот принцип ослабил бы Россию и остановил бы ее развитие. Один из признаков разложения Европы есть обостренное развитие национальных движений (в понимании этого наш предшественник – Леонтьев). Интернационализм – не есть исход из создавшегося тупика, ибо он лежит в той же плоскости, что и национализм – и есть его простое отрицание, логическая стадия развития. Выход... в отвержении и национализма и интернационализма, в выдвигании нового принципа... Россия не есть национальное целое, но нечто большее... национализм губелен для России, и) По внутренним причинам, ибо «русский национализм» будет всегда лишь «великорусским» и должен будет привести к распаду России-Евразии, т. к. вызовет развитие местных узких национализмов – украинского, белорусского, грузинского и т. п. ж) По внешним причинам, ибо «национализм» закрывает России всякую возможность экспансии...¹⁴

Евразийцы осознанно стремились к такому конструированию имперского пространства, в котором вызов современных национализмов был бы минимален. Сам принцип национального государства был объявлен специфически европейским, романо-германским феноменом еще Н.С. Трубецким в 1920 году¹⁵. В марте 1921 года, отвечая на критику

ку Яacobсона, Трубецкой изложил свои взгляды на национализм:

Национализм хорош, когда он вытекает из самобытной культуры и направлен к этой культуре. Он ложен, когда он не вытекает из такой культуры и направлен к тому, чтобы маленький по существу неевропейский (неромано-германский) народ разыгрывал из себя великую державу, в которой «все как у господ». Он ложен и тогда, когда мешает другим народам быть самими собой и хочет принудить их принять чуждую для них культуру. «Национальное самоопределение», как его понимают бывший президент Вильсон и разные самостийники вроде грузин, эстонцев, латышей и проч., есть типичный пример национализма первого рода. Немецкий шовинизм или англо-американское культуртрегерство – вид ложного национализма второго рода. Наш русский «национализм» дореволюционного периода есть и то и другое. Истинный национализм предстоит создать¹⁶.

Оставляя привычные для романтиков XIX века представления о родственных и органических связях народов, евразийцы предложили свое видение российской идентичности, в котором генетическая модель родства была заменена системной моделью конвергенции, выразившейся в приобретении народами общих признаков в результате длительного опыта исторического общения¹⁷. Объявляя западных

славян европейцами (точнее, принадлежащими переходной зоне между Европой и Евразией), евразийцы считали, что российский культурный тип был сформирован многовековым общением славян с «туранским» Востоком, с монгольскими, тюркскими и финно-угорскими народами. Эта тема, впервые поднятая Савицким в его небольшом трактате, излагавшем географические и этнографические основы евразийства, впоследствии разрабатывалась Трубецким и Яacobсоном, исследовавшими лингвистические и этнопсихологические аспекты евразийского единства¹⁸. Одним из результатов такого подхода стала концепция языкового союза, авторами которой были «пражские» лингвисты. Сам Савицкий основное внимание уделил географии и «природным» аспектам единства Евразии, разрабатывая в новом ключе популярные в начале XX века концепции «тотальных географических регионов»¹⁹.

Сочетаясь с унаследованной от славянофилов идеализацией допетровского периода русской истории и отрицанием усредняющей буржуазности, символом которой была для евразийцев Европа, евразийское стремление к конструированию целостности этнографического и географического пространства породило и достаточно оригинальный исторический дискурс. Московское царство – не просто истинно русский период российской истории, оно еще и наследник степных азиатских империй, защищающий русско-туранский мир от вредоносных контактов с агрессивной Ев-

ропой. Именно московское царство воплотило в себе для евразийцев их концепцию романтической целостности с восточным оттенком, искусственно сконструированный образ толерантной к разным религиям автаркии, перенесенный из Европы 1920-х годов в XV век²⁰. Надо сказать, что именно исторические воззрения евразийцев вызвали наиболее острую негативную реакцию как в эмиграции, так и среди современных историков.

Однако революция была для евразийцев не только распадом и катастрофой. Глубокая убежденность эмигрантов в том, что режим большевиков не продержится сколько-нибудь долго по меркам исторического времени, что возвращение в Россию – дело не очень отдаленного будущего, была свойственна и им. Как и у других изгнанников, эта убежденность основывалась на психологически понятной и широко распространенной в эмиграции вере в то, что под тонким слоем большевистского режима в России идет некая активная жизнь, которая приведет к изменениям и позволит эмигрантам вернуться на родину. Если либералы и демократы верили, что эта жизнь рано или поздно уничтожит большевистский режим, для евразийцев это не было очевидным. Для того чтобы реализовать евразийскую программу, следовало изменить идеологию большевистских правителей, не затрагивая при этом основ нового строя.

Отгородившись от всего, что было связано с непосредственным прошлым России, евразийцы объявили себя и

свою идеологию радикально новым словом в осмыслении судьбы страны. Согласно этому новому слову, революция не только разрушила старый мир имперской России – она еще и разрешила славянофильскую дилемму XIX века, освободив творческие силы «автохтонного» населения России. На смену старому миру скованной европейскими заимствованиями России пришел новый мир, и евразийцы считали, что они «творят культуру» для этого нового мира. Он характеризовался прежде всего новой политикой, названной Трубецким «идеократией», и новой эстетикой формы, которую проповедовал Сувчинский. В этом сочетании фашистского государственного устройства с новыми веяниями в искусстве звучали мотивы поиска моральной регенерации, распространенные в межвоенной Европе. Эти мотивы не были чужды и самому большевистскому режиму, который, несмотря на определенную эстетическую консервативность большинства своих лидеров, пропагандировал разрушение старого мира и построение новой культуры.

Новый мир должен был противопоставить старому, европейскому миру абсолютную целостность – органичность государства, аутентичный религиозный опыт, синтетическую науку. Поиск тотальной целостности проходит через евразийскую политику и эстетику так же, как он проходит через евразийскую этнографию, лингвистику или географию. Образ идеократического государства, управляемого могущественной идеей и администрируемого непроецес-

суально «отобранном» слоем, выглядит сегодня проектом осуществившихся тоталитарных режимов XX века. Можно дискутировать о том, в какой степени евразийцы принимали или отвергали специфически большевистские черты Советской России, но не вызывает никаких сомнений, что именно «идеократические» элементы большевистского режима – господство одной идеологии и «волевая» власть – были для них особенно привлекательны²¹. Так, П.Н. Савицкий, определяя по просьбе резидента «Треста» в Варшаве Ю.А. Артамонова свое отношение к фашизму, писал:

Вот мои соображения о фашизме.

1. Фашизм является ответом на большевизм и основан на большевистском примере. Но равен ли тезис антитезису? Приходится признать, что нет.

2. Всякое историческое «деяние» имеет плоть. Плоть современного мира – территориальная, основанная на конфликте континента и океанических форм (колониальные державы). Большевики контролируют континент, тогда как у Италии нет шансов вести европейский мир в его совокупности континентально или охватить океанически, Италия провинциальна. Сейчас эпоха каменноугольная и железная, и тут у Италии тоже нет шансов. «Италия не имеет великодержавной базы, а следовательно и фашизм не может явиться ответом соразмерным тезису большевизма». Большевизм есть идеология «конечная», отрицая религиозные начала абсолютно,

он их учитывает. У фашизма есть шанс, если папиа сможет объединить религиозные и национальные начала. У фашистов плохое положение – за еретичество католиков они наказаны тем, что в католичестве вселенские и национальные начала враждебны, в отличие от православия²²

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.